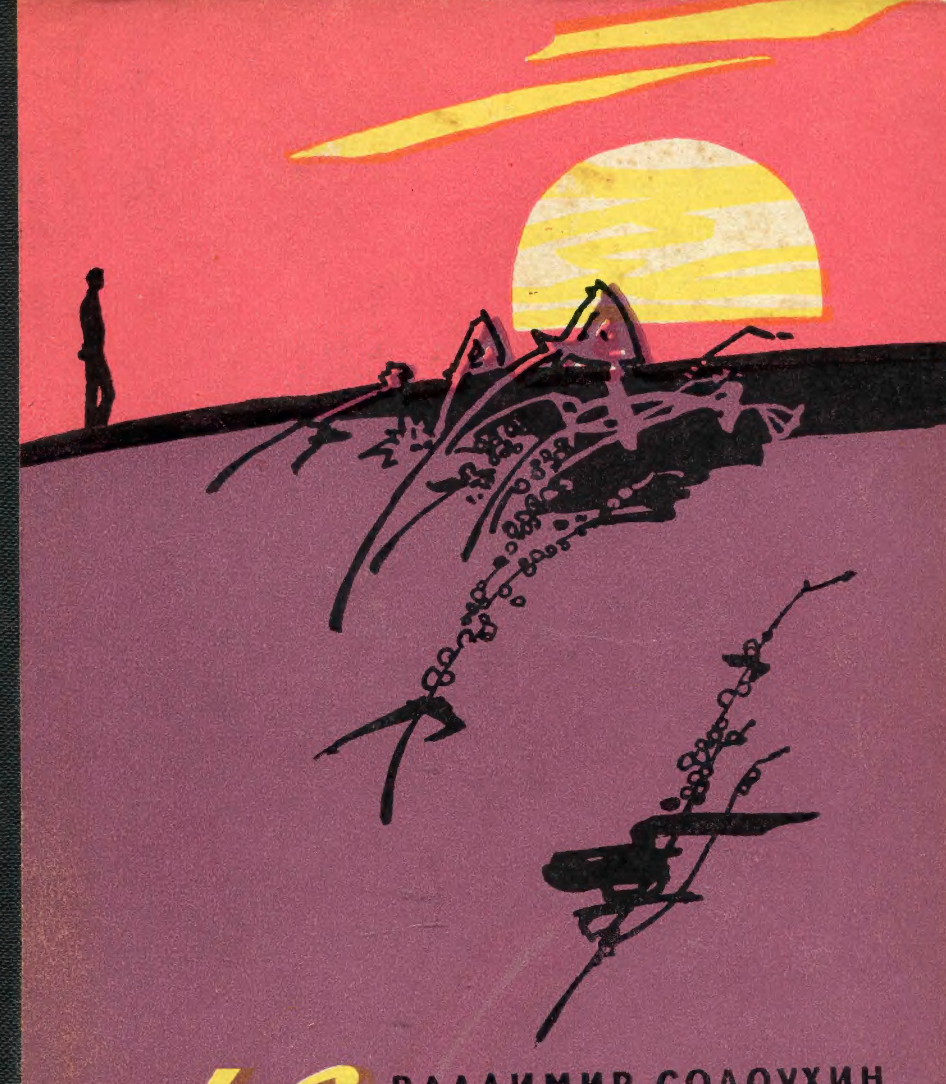


ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

КАПЛЯ РОСЫ

Скан и обработка:
krestik

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

Капля росы

Издательство
ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1960

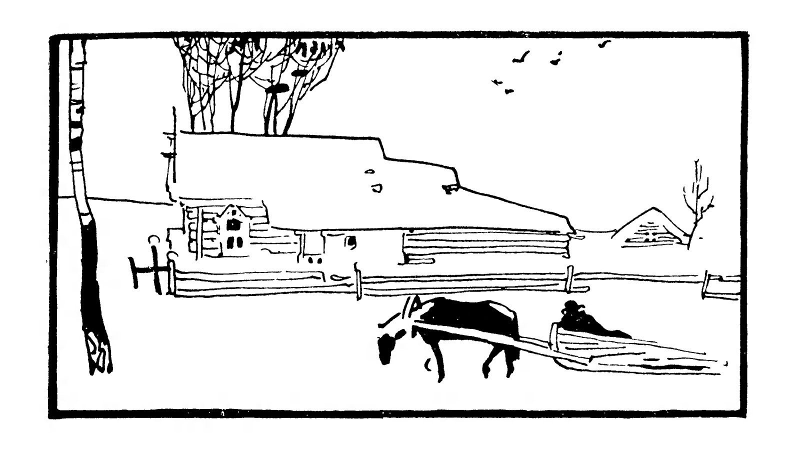
Солоухин Владимир Алексеевич

КАПЛЯ РОСЫ

Редактор *О. Мамаева*
Художник *Т. Толстая*
Худож. редактор *Н. Печникова*
Техн. редактор *М. Шленская*

А03681 Подп. к печ. 5/VII 1960 г.
Бум. 84×108 1/32. Печ. л. 7,5 (12,3).
Уч.-изд. л. 12. Тираж 60 000 экз.
(15 000+45 000) Зак. 593.
Цена 5 р. 10 к.
С 1/I 1961 года. цена 51 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.



...Передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них...

(С. Т. Аксаков)

— Ну, а теперь расскажи мне, что ты сейчас пишешь.

— Я пишу книгу.

— Повесть?

— Н... не совсем.

— Роман?

— Нет. Ее совершенно нельзя назвать романом.

— А, я знаю, ты опять пишешь очерки.

— Вряд ли...

— Так, видно, это будет нечто автобиографическое?

— Смотря как понимать автобиографию. Чтобы ее написать, нужно рассказать о людях, с которыми пришлось повстречаться в течение жизни. Автобиография состоит не из описания самого себя, а из описания всего, что ты увидел и полюбил на земле.

— Так что же ты пишешь в конце концов?

— Книгу.

— Но, надеюсь, там есть эти — как их? — герои, и, очевидно, имеется главный герой? Ты их придумал или нашел в горниле жизни?

— Не в горниле, а в селе Олепине.

— Вспомнил, вспомнил, вспомнил! Три года назад случайно в разговоре ты пообещал мне написать книгу про свое родное село. Так, значит, это она и есть? Но в каком плане — история, портреты людей, природа или... чисто колхозная тематика?

— Это книга про мое родное село Олепино. Если у вас из прочтения как бы отдельных и как бы разрозненных картин составится одна, общая и цельная, если вы будете иногда вспоминать и думать об Олепине, а главное, если вы будете вспоминать и думать о нем тепло, как о хорошем, добром знакомом, то больше мне ничего и не нужно.

Да, в книге много людей, несколько десятков человек, но я не выдумывал их, ибо как я могу выдумать олепинского жителя, если все олепинские жители известны по имени, отчеству и фамилии!

Вот вы говорите: колхозная тематика... Признаться ли вам, что я, в сущности, не застал, не видел и, значит, не помню доколхозной деревни. Мне было шесть лет, когда в Олепине образовался колхоз «Культурник» (об этом будет рассказано в том месте книги, которое окажется необходимым).

Колхоз — было то естественное состояние окружающего меня мира, которое я застал на земле. И если не на каждой странице книги фигурируют цифры урожайности и надоев (в своем месте будут помещены целые таблицы цифр), то ведь не каждый день я задумываюсь и над тем, что в сладчайшем глотке утреннего прохладного воздуха, просвеченного солнцем и промытого теплым дождем, содержится азота семьдесят восемь процентов, кислорода — двадцать один, а углекислого газа и вовсе ничтожное количество... Кроме того, село мое не является отдельным колхозом, но есть лишь бригада объединенного колхоза — одна из многих бригад. Я не собираюсь писать про

все одиннадцать деревень, которые составляют колхоз, но про одну, одиннадцатую его часть, про маленькое село Олепино.

— Но возможно ли? Ведь полагается из десятков людей по крупице, по черточке, по штришку создавать единый художественный образ, обобщенный, типический, характерный, точно так же, как из сотен деревень — одну типическую деревню.

Берясь показывать Олепино, делая его главным героем книги, ты уверен, что оно является селом показательным и типическим?

— Это сложный вопрос. Есть огромные села, раскинувшие улицы свои по берегам больших рек, — это русские, это колхозные села.

Есть колхозы, имеющие свои санатории и многомиллионные доходы.

Есть села, в которых теперь уже не колхозы, а совхозы, а колхозники стали как бы рабочий класс. Может, это-то и есть самое показательное для нынешнего дня. А я между тем пишу про Олепино.

У меня не было другого выхода. У меня не было выбора. Село Олепино — одно для меня на целой земле; я в нем родился и вырос.

Я постараюсь рассказать о нем как можно яснее. Не сердитесь, если то и дело придется переноситься из сегодня в довоенное время, а оттуда — опять в нынешний день. Всякое дерево состоит не только из листвы и плодов, даже не только из ствола, но у него есть еще и корни...

— По крайней мере мог бы начать с того, где находится твое никому не известное Олепино.

Чтобы получить понятие, где происходило и происходит все, что будет описано в этой книге, нужно, не теряя времени даром... Впрочем, может быть, стоит рассказать, как постепенно, но очень быстро изменилось общение нашего маленького села с остальным, в синеватой дымке растворившимся миром.

Лет двадцать — двадцать пять назад, а проще сказать, до войны, вы, чтобы приехать в Олепино, непре-

менно должны были войти в поезд, отправляющийся из Москвы в сторону города Владимира.

Промелькнули бы станции со скучными станционными постройками, с землей, пропитанной маслом, и стандартными заборами и водокачками. Вот Обираловка, где некогда бросилась под поезд Анна Каренина (переименовывая, дали этой станции очень «свежее» и очень «оригинальное» название—«Железнодорожная»), вот Павлов-Посад, вот просто Усад, вот Орехово-Зуево, вот окруженный лесами, торфяными болотами да озерами в этих болотах городочек Покров, вот Петушки, вот Болдино, вот еще какой-то Ундол...

Если бы оказался рядом с вами сведущий, а пуще того разговорчивый попутчик, то он успел бы, может быть, за те две минуты, пока стоит поезд, осведомить вас, что село Ундол некогда принадлежало Суворову и что до сих пор сохранилась в селе белая, под голубыми крышами церковь, в которой будто бы венчался великий полководец, но, что, впрочем, село от самой станции в нескольких верстах, из окошка поезда церковь эту все равно не увидишь.

Вы станете разглядывать хотя бы станцию, если нельзя увидеть села, и взгляд ваш наткнется на ту же водокачку, на тот же забор, на тот же маленький вокзальный домик с вывеской «Ундол», колоколом и часами (хорошо, если часами); на толпу баб и мужиков (пуще баб, чем мужиков), бросившихся с баулами и мешками на штурм бесплацкартных, так называемых общих вагонов; на две-три лошади, запряженные в роспуски или в розвальни, глядя по времени года, мирно жующих сено и как бы чего-то ожидающих. Скорее всего, лошадей не видно за домиком вокзала, но все равно они непременно должны быть.

Сейчас отправится поезд и опустеет перрон. Представив это и несмотря на упоминание о великом полководце, вы не удержались бы от восклицания: «Экая глушь!»

Но что вы, разве это глушь? Это же станция железной дороги. Дождитесь поезда на деревянном плоском диване внутри вокзала, где держится тот усто-

явшийся годами запах, который вы найдете на всех вокзалах, в большей или меньшей сгущенности, или, если хотите, можете скоротать время в крохотном буфетике, взяв стакан чая и бутерброд с селедкой, и через пять часов вы в Москве, а значит, и где угодно — вплоть до Ленинграда, Буэнос-Айреса и Нью-Йорка. Обласканные горячим солнцем оранжевые пески морских побережий, на которые отлого накатывает синева; вечерние улицы больших городов, сверкающие множеством огней, умноженных тем, что асфальт мокр и потому зеркален, — все это доступно человеку, если он едет в поезде.

Но я предлагаю вам сойти с поезда на станции Ундол.

Не много пассажиров сойдет вместе с нами, не успеем мы еще оглядеться по сторонам, как сзади нас раздастся вроде бы удивленный голос:

— Кто приехал!

Это воскликнул мой отец. Он знает, что должны были приехать именно мы с вами, и здесь, на станции, он оказался только ради того, чтобы встретить нас, но вот ему надо непременно удивиться и воскликнуть: «Кто приехал!»

Одна из лошадей, на которую вы только что смотрели так посторонне и равнодушно, оказывается, пришла за нами. Отец взрыхлит сухой темно-коричневый клевер в розвальнях, вещички наши экономно уставит в передок, прикрыв тем же клевером. Может быть, вам непривычно натягивать поверх своего пальто еще и тулуп, пахнущий овчиной — своеобразно и остро, но надеть его надо: дорога не близкая. Сейчас отец достанет из-под клевера запасные валенки, усадит нас как следует, к ветру спиной, чтобы под тулуп не задувало, на ноги бросит дерюжку, сам завалится в передок, и земля дернется под нами сначала с боку на бок (надо сорвать с места прилипшие к снегу полозья саней), а потом тронется тихо и со скоростью трех-четырех километров в час — дорога не бойка, лошаденка свое уж отыграла, а у отца любимое правило: тише едешь — дальше будешь, — поплывут навстречу разные зимние пейзажи.

Отец все время понукает лошадь: «Ишь она, чего тут!», «Но, шевелись, на горе отдо́хнешь!», «Ишь она, уснула, вот я ее сейчас!» Но на лошадь это не производит ни малейшего впечатления, судя по тому, что сани скользят после таких понуканий не шибче и не тише, а все так же монотонно и усыпляюще тихо.

Воротник тулупа, твердый, стеганый, выше головы, не дает глядеть по сторонам, но только в одном направлении, и то не широко, а в узкую щелочку. Сначала в этой щели проплывают дома, заборы, высокая кирпичная труба, решетчатые щиты, какие устанавливают вдоль дороги, чтобы не переметало в метель, а потом не останется ничего, кроме снега, местами совершенно незапятнанного, местами с торчащими из-под него кое-где прошлогодними былинками.

Если былинки как ни тихо, но сменяют друг друга, мелькают или, лучше сказать, уплывают из щелочки, то дальний лес — темная полоска между сероватым снегом и вовсе уж серым, таким же плоским и ровным, как снег, небом — постоянно стоит перед глазами и как будто вовсе не сдвигается с места.

Сначала снег перед глазами явственно белый, а лес явственно черный, а небо явственно серое, но постепенно все начинает стушевываться, все становится мутным, одноцветным, все заволакивают ранние зимние сумерки.

Если в это время вы выглянете из высокого тулупного воротника и оглянетесь вокруг, то увидите, что в окрестном мире нет ничего другого, кроме печальной, все больше сгущающейся мглы да вас, затерявшихся посредине ее. Поскорее завернетесь вы снова в тулуп и вполне доверитесь кучеру, который, наверное, знает свое дело, да еще неслышному, странно вдруг замедлившемуся течению времени.

Подхваченное плавным течением времени воображение ваше начнет оживлять картины пережитого вами — и лица людей, и их глаза, и их слова. Каждая картина принесет свое настроение. Если вы пусты, то именно теперь вы и поймете и увидите со всей беспощадной очевидностью, что вы совершенно пусты,

а если душа полна, хотя бы хорошей, светлой любовью к женщине, то и печаль ваша, навеянная зимней дорогой, останется светлой и образ любимой женщины, как бы прорисовываясь на успокаивающейся и, наконец, совсем установившейся озерной глади, заслонит все.

Вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего начнут вспоминаться многие стихи русских поэтов и больше всего Пушкина. Даже те, которые вы думали, что не знаете наизусть, начнут складываться, вспоминаться по строчкам и вспомнятся полностью. Вы лучше и глубже почувствуете их, и вовсе не случайно, не то чтобы ни с того ни с сего, а потому, что когда-нибудь, много времени назад, они впервые дрогнули в душе поэта во время такой же зимней дороги, посреди таких же вечерних равнин.

Вспоминая свое настоящее, думая о нем, вы заметите, что все события, факты, фактики, радости, огорчения, заботы, встречи, споры, размолвки, удачи, хорошие и дурные поступки, — что все это, мельтешащее обычно в сознании человека, тотчас просеется через волшебное сито, и многое, что казалось в вашей личной жизни большим, важным и значительным, вдруг провалится в темноту, а то, что казалось мелочью или даже совсем не вспоминалось, останется на ситах, обретет размеры и явственность, заполнит все ваши мысли и движения души.

Нужно непременно поверить зимней дороге, что это-то, значит, и есть самое главное, самое нужное, а не то, что казалось главным и нужным в житейской суете.

Между тем вам придется вспомнить про свои ноги, ибо они начнут зябнуть, да и самим вам, как бы ни был тепел тулуп, сделается знобко. Сначала вы наберетесь терпения, соберетесь с силами и решите сидеть до конца, но как скоро поймете, что конца и не предвидится, то несколько растеряетесь: а как же быть? Не замерзать же в этих равнинах! Выход очень простой. Соскакивайте с саней и идите сзади них. Лошадь, почувствовав облегчение, пойдет бойчее, и вам придется не только идти, но местами трусить, а по-

скольку на вас тяжелый тулуп и тяжелые валенки, то сразу услышите, как горячая кровь побежала по всему телу, достигая кончиков озябших ног, а под рубахой на спине почувствуется легкая влага.

Совсем темно стало на земле. Более воображением, чем зрением, угадывается в стороне темное: то ли лес, то ли деревня. Красненький огонек мелькнул там (все-таки деревня), мелькнул и пропал, загородился каким-нибудь сараем, амбаром или высоким сугробом снега.

По сторонам приходится глядеть мало, все больше себе под ноги. У себя под ногами вы видите задки саней, которые все время стараются ускользнуть, убежать от вас, и свои валенки за этими задками поспевающие.

Пробежав с километр, нагревшись, снова завалишься в розвальни, отдышишься после бега и с новой приятностью начнешь слушать монотонное скрипение полозьев, пофыркивание лошади и более успокаивающие, чем понукающие, крики отца: «Ишь она, чего тут!», «Но, пошла, на горе отдо́хнешь!», «Ишь она, вот я ее сейчас!»

Видения прошлого, картины настоящего, мечты о будущем начнут туманиться, реже переменяться одна на другую, незаметно спустится сон. А лошадь все дальше и дальше увозит нас в глубину заснеженных русских полей. В ночной темноте проплывают мимо деревни и села: Васильевка, Кучино, Глухово, Анцифирово, Нажерово, Борисово, Шуново, Зельники...

Очнувшись от дремоты, вы оглянетесь по сторонам и сразу заметите, что в мире произошли какие-то важные изменения. Той плотной, пусть белесоватой, но все же черной мглы, которая окружала вас, загораживая все окрест, больше нет, а появилась мгла просветленная, которая дает возможность увидеть и лес вдали от дороги, и уснувшие деревни, и черные вешки, то есть еловый лапник, натыканный изредка по обеим сторонам дороги.

Вы увидите небо, вместо которого недавно была чернота. Оно все в многослойных, низко опустившихся облаках. Оно удивительно похоже на те сугробные

волнистые пространства, что распространились во все стороны под ним.

Светло стало оттого, что взошла луна. Ее не видно за облаками, но можно угадать, где она плавает за ними, по большому (в четверть неба) размывчатому пятну. Нет-нет и само светило (точь-в-точь как рыба, когда выбрасывается из воды) сверкнет широким плоским боком и тотчас снова нырнет в волнистые глубокие облака.

Вы смотрите по сторонам, любуясь на луну или вглядываясь внутрь самого себя, а лошадь между тем перебирает и перебирает ногами, и, наконец, дорога, нырнув в глубокую ухабину возле молотильного сарая (тут всегда сугробы, что твои барханы в пустыне) и снова выкарабкавшись на высокое место, на гребень снежной волны, вплетется необходимой и завершающей деталью в картину полуночного зимнего села.

Дома́ и спят и не спят, словно слушают одинокий скрип полозьев вдоль сторонки от дома к дому, мимо пожарного сарая, мимо школы, мимо церковной ограды. Прекратилось, затихло скрипение: не иначе, кто-нибудь к Солоухиным в гости. И точно, уж проступили красноватые окна — зажгла мать керосиновую лампу, и мы, высвобождаясь из тулупов, входим вместе с клубами белого пара в душноватое, желтенькое избяное тепло. Не правда ли, здесь поглуше, чем на станции Ундол?

Во всякое время года и днем и ночью приходилось мне ездить на станцию из своего села или, наоборот, в село со станции.

Летом окажется, что дорога, которая могла зимой показаться и однообразной и скучной, необычно разнообразна и живописна. То она спускается в глубоченный лесной овраг, где сырой лесной прелью обдает из-под темного полога леса, где трухлявеют и разваливаются пни, истлевают упавшие деревья и перегорает в сырости прошлогодняя, слежавшаяся листва; то, поднявшись из оврага, заденет дорога

лесную опушку, где к припеку над цветами веселое кипение и пчел, и ос, и шмелей, и бабочек, и жужелиц, где тотчас въедешь в жаркое испарение пестрых июльских цветов, горячего цветочного меда; в эту пору, если и поле, то не то чтобы ровное пустое место, а, к примеру, — хлеба. С холма не наглядишься на матово-зеленое, тронутое желтизной ржаное море или, лучше сказать, озеро, по которому перекатывается легкая зыбь, а над ним прозрачная, зыбкая струится жара. Подвода въезжает в рожь по узкой дороге, и, наверно, даже верхушки нашей дуги не видать теперь со стороны, или, может быть, только ее-то одну и видно. Тележные оси задевают за рожь по сторонам дороги, оставляя на пригнутых стеблях черные метины колесной мази. Тут наступает полное безветрие, и слепни начинают кружить над бедной лошадью, облепляют ее со всех сторон. Лошадь дергается и вздрагивает каждым мускулом, чтобы спугнуть назойливую тварь, машет хвостом, бьет себя по животу то одной, то другой задней ногой — все бесполезно. Ударишь черенком кнута по облепившим лошадь слепням — и останется на этом месте кровавое пятно, яркие капельки крови далеко брызнут во все стороны.

То белая колоколенка проглянет из синего марева, то красная крыша дома сквозь зелень сада, то прогремят колеса по бревенчатому мосту через светлую небыструю речку, то васильковое платье девушки завиднеется на тропинке во ржи, то солнце набросает на сочную траву ярких пятен, процедившись сквозь трепещущую листву молодых берез.

А над всем миром, по всему полуденному небу — белые облака, плоские снизу и необыкновенно причудливые, округлые, кудрявые наверху. Редко разбежались они по синему своему пастбищу, почти не мешают солнцу жарить и парить в разгаре летнего дня. Лишь иногда набежит легкая тень, овеет прохладой, а уж от дальнего леса по лугам, по полям, разливаясь все шире и как бы набирая скорость, катится новая солнечная волна.

И потому, что жарко, и потому, что нервничаешь:

не опоздать бы на поезд, да к тому же чуть ли не в пятидесятый раз любуешься на все вокруг, — из-за всего этого, по совести говоря, ждешь не дождешься, когда настанет конец тарахтению телеги.

Однажды выехали мы с отцом за одиннадцать часов до поезда (нормальная езда от нас до Ундола пять-шесть часов) в расчете на то, что лошаденка плоха и пойдет небойко.

В Нажеровском лесу высказал я отцу первое свое опасение, как бы не опоздать, не упустить поезда, как бы не пришлось сутки сидеть на вокзале и дожидаться следующего.

— Не бойсь, — отвечал отец, — еще чаю не торопясь напьемся! Но, ишь она, чего тут!

За Глуховом опасения переросли в тревогу.

— Не бойсь! Тише едешь — дальше будешь! Еще чаю успеем напиться. Ишь она, вот я ее сейчас!

Когда проехали Кучино, сомнений почти не осталось. Потрафляем тютелька в тютельку, так, чтобы успеть вскочить на подножку.

— Не бойсь, чай, не первый раз! Сказано тебе, чаю напьемся. Но, давай, на горе отдóхнешь!

Часов у нас не было. Мы определялись по солнышку и просто так, по чувству времени. После Васильевки дорога до станции короткая и прямая, каких-нибудь два километра. Видны все станционные постройки и время от времени клубочки белого паровозного пара над ними. Видно было также, как, распространяя гул на окрестные леса, с разгона врезался в нагромождение этих построек и исчез за ними пассажирский поезд. Вот он постоял, погудел и вынырнул с другого конца.

— Эх, паря! — почесал в затылке отец. — А ведь это наш поезд пошел. Но, ишь, чего она тут, баловница такая, вот я ее сейчас!

Главное предсказание отца, что мы напьемся чаю, исполнилось. Мы могли теперь пить его не спеша и обстоятельно, вплоть до следующего поезда. Конечно, опоздание наше зависело и от лошади, но всем в селе было известно, что любая колхозная лошадь

у Алексея Алексеевича, то есть у моего отца, шла в два раза тише, чем у кого-нибудь другого.

Гораздо чаще, чем на лошади, приходилось проделывать дорогу на станцию пешком. Причем никогда не бывало, чтобы совсем без вещей. К концу дороги и не тяжелые, перевязанные вафельным полотенцем сумки так намнут спину, грудь и плечи, а если чемодан, то он так оттянет и отвихляет обе руки, что потом три дня больно дотронуться до натруженных мест.

Дорога разделена тобой на участки, вроде как на этапы. Дойти бы до большой ветлы, стоящей в поле, сразу бы подвинулось дело, можно бы и отдохнуть. Но дерево, увиденное издалека, почти не подвигается навстречу, а когда в конце концов достигнешь его, пространство отступает от тебя вдаль, до кучинских кустиков, и надо опять преодолевать его, чтобы достигнуть этой новой цели, которая вовсе и не цель, а всего лишь очередная веха пути.

По дороге то и дело оглядываешься: не догонит ли какая подвода, чтобы попросить у хозяина ее положить вещи, а самому идти рядом с телегой. Но мало подвод на Ундольской дороге, не каждая окажется свободной и легкой, чтобы твои вещи не стали в тягость ей самой.

Так сообщались мы с внешним миром через станцию Ундол, а в это время на другом пути, а именно через большое село Ставрово и дальше, через Бабаево к асфальтированному шоссе Москва — Горький, стали сначала изредка, потом все чаще и чаще попадаться грузовые автомобили. Иногда повезет пешеходу: оглянется он в надежде на лошаденку, а сзади идет грузовик. В перемазанной одежде молодой шофер крикнет, высунувшись из кабины:

— А ну, полезай в кузов, только держись крепче!

Не веря удаче, скорее залезешь в кузов, забросив предварительно туда свой чемодан, и сознание с радостью отмечает вехи пути (там начало леска, там отдельное дерево в поле, там поворот дороги), кото-

рые казались такими далекими, почти недосягаемыми, мимо которых шел бы целый день, а теперь проскочил, и нет их, и не успел еще опомниться, а уж вот он, асфальт, большак, трасса, дорога во все концы белого света.

Постепенно в сознании людей произошел перелом: а обязательно ли ездить на поезде, если можно выехать на асфальт и «голосовать» там проходящим машинам и рано или поздно уедешь куда нужно? Но до войны мало машин проходило взад-назад даже и по асфальту. Тем более мало сворачивало их в сторону Ставрова, на булыжное шоссе, и редкая машина углублялась в земные просторы дальше Ставрова, куда не вело никакой дороги, кроме проселка, наезженного лошадьми.

Впрочем, я не совсем прав, говоря, что к этому проселку вовсе не притрагивалась рука человека. Наоборот, сколько я себя помню, всё потихонечку строили там шоссе от Ставрова к Кольчугину. Намеченная дорога проходила через Черкутино, в четырех километрах от нашего села. Но все время строительство это находилось на одном и том же месте.

Первоначальной энергии хватило на то, чтобы выкопать канавы по сторонам воображаемой дороги. Весной канавы эти наполнялись водой, и вода, сначала быстро пересыхавшая, застаивалась год от году все дольше и дольше. Откуда ни возьмись, появился тут рогоз — растение болотное. Черные бархатные шишки его красиво разнообразили полевой пейзаж. На самом полотне, то есть между двумя канавами, постоянно сидели в том или ином месте несколько рабочих с молотками в руках, а около них лежала куча камней. Они укладывали камни один к одному рядочком и успевали продвинуться за лето, может быть, даже на километр. Потом наступала зима.

Весной вода размывала мощеный участок дороги, вымывая из-под камней грунт, надо было чинить, латать, подновлять. Пока несколько лет возились с одним участком дороги, предыдущий, считавшийся законченным, приходил в совершенную негодность.

Дело было в том, что строительство это осуществлялось не государством, а местной дорожной организацией. Окрестные колхозы обязаны были привезти столько-то подвод камней, а колхозники предварительно должны были эти камни собрать. Другие колхозники выделялись для земляных работ на дороге. Но все это делалось вяло, в мизерных масштабах и, кажется, совсем не оплачивалось. По крайней мере на днях мне соседка Маруся Кузова рассказала, как их в те времена посылали собирать камни (по стольку-то кубометров на женщину) и как они закладывали в середину пни и коряги, а сверху насыпали камней. Кучи камней, собранные ими, и сейчас еще, вот уже двадцать лет, лежат в лесу. Они заросли травой, кустами и похожи на неведомые, загадочные могилы, так как имеют продолговатую прямоугольную форму. Значит, важно ли, что у них в середине: пни, коряги или те же камни?

Дорожные мастера, как правило, были пьяницы. Не зря Юрка Семионов сказал про двух из них, что они, если бы захотели, давно уж могли бы замостить эту дорогу пустыми бутылками.

Однако я должен отвлечься и рассказать про то место, где происходила главная заготовка камней.

Один из оврагов, глубоко разрезающих то там, то тут наши поля, не успев начаться как следует, врезался в густые заросли Самойловского леса. В поле это был овраг как овраг: склоны его устланы тяжелыми, толстыми коврами из луговых и полевых цветов, а дно постлано одноцветной дорожкой из яркой сочной осоки, под которой и в самую жару держится, просачиваясь из земли, ржавая влага.

Но как скоро овраг попадает в лес, картина меняется. Огромные обомшелые ели растут по склонам, почти смыкаясь наверху, цепляясь друг за дружку мохнатыми длинными лапами. Уж не медовый, а грибной запах держится на дне оврага, который, впрочем, не называется больше оврагом, но буераком. Лесная малина, крапива, буйные папоротники, волчье лыко, бересклет, кусты орешника — все перемешалось там, иной раз и не продерешься, не исцарапавшись и не

острекавшись крапивой. По ночам филины орут в буераке, как будто кого-нибудь душат разбойники, схватив за горло и надавив коленкой на грудь, а днем в небе парят коршуны, и парение их кажется выше оттого, что смотришь с глубокого буерачного дна.

На дне буерака не ржавая сквозь осоку течет водичка, но по чистому, обильно усыпанному камнями дну струится чистая холодная вода, которую так сладко пить, когда в жару объешься спелой земляникой, созревшей тут же поблизости. Неудобно нагибаться и перевешиваться вниз головой в узкое, глубоко прорытое руслице, поэтому срежешь длинный пустотелый стебель травы и через метровую трубочку эту жадно втягиваешь холодящую гортань влагу. Скорее всего, она не пахнет ничем особенным, но поскольку пьешь и в это же время дышишь лесным воздухом, вдыхаешь в себя все запахи леса, то и кажется, будто вода тоже пахнет и немного малиной, и немного мятой, и папоротниками, и всякой лесной чертовщиной.

Возле самой воды, в густых зарослях, вдруг увидишь подвешенное к стеблям гнездо крапивницы или выдолбленное в трухлявом осиновом пне гнездо мухоловки-пеструшки. Вход в гнездо не более пятикопеечной монеты. Какова же должна быть сама пичужка, насколько же малы ее чисто голубенькие яички и каковы же выводятся из них птенцы! Но не часто обнаружишь искусно свитое, искусно спрятанное в буйной зелени гнездо, хотя их должно быть очень много вокруг: весь буерак сверху донизу наполнен щебетанием, пересвистом, перещелкиванием и перепархиванием птиц.

По осени у подножия елей вырастают крепкие светло-шоколадные грибы. На грибах явственно видны бороздчатые следы острых беличьих зубок. Прыгая с дерева на дерево, собирает белка и орехи с полными твердыми ядрами.

Для меня буерак был как некий заповедный уголок природы, куда почти никто не ходит и где все растет, развивается и отмирает естественной, безнасильственной смертью.

В этом-то буераке, откуда и пешком едва-едва выкарабкаешься, а не то чтобы выехать на лошади, груженной булыжником, и надумали собирать камни.

Как некий (самозванный, конечно) властелин буерака, по крайней мере как его единственный более или менее постоянный обитатель, с некоторым злорадством наблюдал я, как прямоугольные, похожие на могилы кучи камней зарастали кустарником, папоротником, малиной и цветами и все приобретало первоначальный, дикий вид.

А между тем злорадствовать было не над чем: дорога не подвигалась с места, и сам я едва не погиб на ней из-за того, что она не подвигалась.

Однажды в зимний день Борис Грубов, Валентина Пенькова и я пробирались из Владимира домой на День Конституции. Было нам тогда по пятнадцати лет. До Ставрова (тридцать километров) нас подвез на лошади мой отец. В чайной посидели, погрелись, попили чаю, а отец — водки, и довольно много, так что мы его потом едва-едва завалили в розвальни.

Погода показалась нам хорошей, езда в санях тихой и скучной, и мы решили потихоньку идти вперед, предоставив лошади плестись сзади. Главная причина, почему мы покинули подводу, состояла в том, что лошадь перепала за долгий путь и совершенно отказывалась везти нас четверых. Она останавливалась через каждые сто шагов, и невозможно было ни увещеваниями, ни кнутом стронуть ее с места.

И предыдущий участок пути от Владимира до Ставрова мы наполовину прошли пешком, возле саней, иначе впоследствии не обессилели бы так быстро.

Отец не мог управлять лошадью и все норовил заснуть. Мы то и дело оглядывались: как там у него дела? Но лошадь плелась себе и плелась по дороге. Один раз она, правда, свернула в сугроб, и нам пришлось возвращаться довольно далеко, чтобы вывести ее «на стезю».

Между тем стало быстро темнеть, и внезапно испортилась погода. Посыпался обильный снег с ветром. Нельзя было разобрать, какой снег переносится с места на место: низовой, поднятый ветром, или тот,

что падает сверху. Все перемешалось с темнотой, ноги наши стали вязнуть, лошадь потерялась из виду.

Мы знали, что поступаем не совсем ладно, оставляя выпившего человека одного в метели, тем более что, кажется, лошадь опять своротила в сугроб. Но знали мы и то, что лошадь по такой дороге всех четверых не вывезет вовсе. Кроме того, пройдя по забродному пути, мы почувствовали усталость и большую слабость во всем теле. В одну минуту нас облило пóтом, не тем, который неизбежно появляется во время тяжелой работы и ходьбы, а тем, что приходит вместе со слабостью и является результатом ее. В народе такой пот называют испариной.

Дорога теперь определялась только так, что, ступив на нее, мы увязали по колено, а ступив мимо нее, проваливались гораздо глубже. К счастью, у Бориса была палка, и, втыкая ее в снег впереди себя, мы могли нащупывать твердый путь. Сначала мы делали переходы, отсчитывая сто шагов, после чего останавливались и стояли на дороге, лицом к лицу, держась друг за дружку. Вскоре сто шагов сделались слишком большим расстоянием, чтобы можно было пройти его без отдыха, и мы стали останавливаться через каждые пятьдесят. Валентина, как пьяная или как во сне, все старалась сесть прямо на снег, а мы не позволяли ей этого, почувствовав, что хотя и сами мальчишки, но что моральная ответственность за жизнь девушки полностью лежит на нас.

— Не трогайте меня, оставьте, не мешайте!—твердила Валентина. — Я вас догоню. Посижу пять миночек и догоню. Оставьте меня, не трогайте, не мешайте!

Теперь мы не позволяли ей идти сзади, но всегда в середине. Один из нас на переменках шел, или, вернее, брел, впереди. Сначала мы торопились дойти до дому, чтобы послать людей на свежей лошади за отцом, которого, наверно, теперь заносит снегом в санях. Потом все мысли ушли от нас, кроме двух: надо во что бы то ни стало переставлять ноги и ни в коем случае нельзя садиться.

Уж не через пятьдесят, а через патнадцать шагов останавливались мы и отдыхали стоя, дыша в лицо друг другу, маленькие посреди черных разбушевавшихся снегов и по сравнению с теми равнинами, на которых они разбушевались. Валентина начала плакать тихими, беззвучными слезами и еще горячее, как бы в бреду, умоляла нас дать ей отдохнуть, уйти от нее, оставить ее в покое, не мешать ей. Наконец мы сказали:

— Ладно, садись на три минуты, а мы постоим.

Как только Валентина опустилась на снег, так (никогда не забыть мне этого) блаженное выражение разлилось по ее лицу, глаза закрылись, голова покачнулась, и вся она обмякла, крепко-крепко уснув. Подхватив под руки, мы стали тормошить девушку, будить ее, трясти и кое-как дотряслись до сознания. Она открыла глаза, ни слова не говоря, встала и потихонечку, как заведенная, побрела вперед.

Сколько я ни вспоминаю, не могу вспомнить, как мы в первый раз увидели, что пришли в Шуново. Хватило все-таки силенок, не стучась в первую попавшуюся избу, добрести до тети Маши Буряковой, состоящей с нами в родстве. Обрывками, сквозь полусон вспоминаю перепуганное лицо тети Маши, ее хлопоты, огромное алюминиевое блюдо, полное грибного горячего душистого супа, такого крепкого, что бульон был коричневый, словно кофе. Тотчас после супа мы забрались на печку, улеглись рядком и моментально уснули.

Спали мы крепко, бесчувственно, но не очень долго, должно быть часа два, потому что, когда, проснувшись, я посмотрел на ходики, они показывали десять часов вечера. Я проснулся от внутреннего толчка, и таким внутренним толчком была мысль об отце. Разбудив друзей, я сказал, что надо идти домой, потому что время еще не позднее, вьюга затихла и оставшиеся три километра мы пройдем без труда, что мы просрочили много времени, что давно нужно спасать отца, а то он замерзнет до смерти.

Действительно три километра от Шунова до Олепина мы прошли без приключений. Когда я отворил

дверь в избу, навстречу мне метнулась бледная, перепуганная мать, а с печи раздался спокойный, как и всю жизнь, голос отца:

— Я говорил, что найдутся. Где вы столько времени пропадали?

— Мы-то ладно, ты как оказался дома раньше нас?

— А что? Чай, не первый раз. В это время бросай вожжи, не мешай лошади, она довезет сама.

— Но ведь лошадь остановилась, свернула в сугроб!

— Ну-к и что? Постояла, отдохнула и опять пошла. Дело привычное.

Итак, дорога к нам от Ставрова, вернее, отсутствие дороги отрезало нас от «Большой земли». Зимой — снега, весной и осенью — грязь, в летние дожди — тоже грязь, и такая же непролазная, как весной или осенью... Автомобили, как я говорил, появлялись в наших местах только случайные, было их мало, но были они первыми вестниками, и по ним, случайным и редким, можно было представить, к чему придет дело через десяток лет. Но тут началась война.

В войну я служил в армии. По рассказам знаю, что Олепино испытало в эти годы, кроме обыкновенных, два совсем оригинальных и совсем противоположных друг другу вида связи с внешним миром.

Во-первых, из городов потянулись в деревню люди с салазками. Бредя пешком и волоча за собой салазки, эти люди пробирались от деревни до деревни, от села до села, забираясь иногда глубоко в суровые просторы Владимирского ополья. На салазках они везли одежонку, городские платья, городские туфли, платки, пальтишки, кожаные регланы, часы, хромовые сапоги, брошки — у кого что было накоплено в более благополучные годы, да, может быть, и не накоплено, а просто имелось как первая необходимость, чтобы сменять все это на десяток картофелин, на стакан зерна, на каравай хлеба, на фунт (кому невероятно повезет) сливочного или русского масла.

Салазки, конечно, — скачок назад по сравнению даже с простейшей лошадью, но были и взлеты у села Олепина.

Однажды перед вечером (начиналась поземка) за селом на пустое поле опустился самолет. Едва остановившись, он тут же опять побежал по полю и, поднявшись, скрылся за лесом.

На том месте, где самолет приостанавливался посреди поля, остался человек, одетый во все меховое и кожаное, в унтах, с пистолетом.

Случилось в это время проезжать Нюре Московкиной, и будто бы человек, кивнув на олепинские домишки, занесенные снегом, спросил, какой это город, после чего Нюра хлестнула лошадь и вскачь умчалась в село, к правлению колхоза, рассказать о необыкновенном. В том, что спустился немец, у Нюры не было никаких сомнений.

Правление колхоза в то время было как раз на конце села, и председателю Петру Павловичу Воронину с бухгалтером Николаем Черновым хорошо были видны все подробности посадки.

К чести председателя и бухгалтера, нужно сказать, что они не растерялись: один остался, чтобы не спускать глаз с «гостя», а другой, помоложе, задами, сугробами сбегал к Ивану Дмитриевичу за старенькой берданкой, с которой тот по ночам сторожил село, то есть дремал на крылечке магазина.

Пропустив неизвестного впереди себя (он, выйдя на дорогу, не торопясь пошел вдоль села), наши новоявленные бойцы с берданкой следовали на некотором отдалении, стараясь прижиматься поближе к домам, дабы не выдать себя раньше времени, если вдруг тот, идущий впереди, станет оглядываться.

— К Солоухиным пошел, — заметил Николай,— к чему бы это? Надо подойти к окнам и поглядеть, что будет дальше.

Заглянуть в окна мужики осмелились не сразу, а когда заглянули, то увидели, что на столе кипит самовар, стоит бутылка со спиртом, чай, стаканы, идет чаепитие, все веселы и довольны. Гость разделся к этому времени, и в нем нетрудно было узнать на-

шего зятя — летчика. Жена его (моя сестра Мария) жила в ту пору в деревне с маленьким сынишкой, проведать их и прилетел заботливый, а более того находчивый муж и отец.

Петр Павлович и Николай зашли в дом, оставили берданку у порога и, как писали в старинных романах, разделили трапезу.

Самолет время от времени продолжал навещать Олепино, и все так к нему привыкли, что как только послышится шум мотора, так бегут сообщать Марии: встречай, твой летит!

Сначала бегали смотреть самолет (это был «ПО-2»), а потом надоело: подумаешь, самолет! Когда произошла не совсем удачная посадка и, зацепившись за землю, обломился конец у пропеллера, Кузьма Васильевич Бакланихин, специалист мастерить оконные рамы и табуретки, осмотрев поломку, серьезно сказал:

— Если хотите, я такой винт вам вытешу.

— Нет, отвечал летчик, — тут нужна высшая математика, углы, точность большая.

— Так ведь и мы, чай, не лыком шиты. Математику не математику, а углы понимаем, и угольник у меня старинный, правильный. Сейчас возьму дубовое бревно, вытешу, обработаю — и готово!..

В прилетании самолета мужики вскоре нашли свой интерес, а именно: вся округа сходилась, и около «ПО-2» стояла очередь — летчик заправлял зажигалки жителей Олепина и окрестных деревень: спичек ведь не было в то время.

После войны еще прочнее стали мы забывать про железнодорожную станцию Ундол, еще больше автомобилей развелось на нашей дороге, хотя была она по-прежнему не устроена и, значит, девять месяцев в году непроезжа.

Но русский человек и знает, что не проедешь, и говорят ему очевидцы, что ноги не вытянешь, не то что колеса, но все равно, если ему надо, обязательно понадеется на свое особое счастье — авось, проскочу.

Поэтому самая обычная картина в то время была — грузовик, завязнувший в грязи. По всей дороге появились торчащие из грязи, а в сухую погоду вросшие в землю колья, хворост, слеги и бревна (измызганные и даже расщепленные колесами) — следы долговременных буксовок и отчаянных попыток выбраться на более твердое место, за которым вскорости последует новая грязь, новая яма, новый осклизлый бугорок. Поистине удивительно, что в конце концов все автомобили каким-то образом выкарабкивались и куда-то все уезжали, хотя очевидно было, что уехать им невозможно.

Во время войны (не в результате ее, конечно, а так уж совпало) произошли у нас большие изменения, а именно: из обширной Ивановской промышленной области выделилась Владимирская область. Древнейший, некогда первопрестольный, а потом губернский, а потом совсем уж рядовой, чтобы не сказать заштатный, город Владимир стал областным городом.

Вскоре после этого село Ставрово сделалось районным центром, и таким образом стали мы Владимирской области, Ставровского района, село Олепино.

Ставрово — большое по нашей местности, некогда торговое, белокаменное село. Дома в нем хоть и маленькие, но кирпичные и побеленные. Оно стоит на берегу красивой рыбной реки Колокши. Весной, в половодье, разлив подмывает некоторые дома, а в баню, что стоит возле реки и которую заливает до крыши, забрел однажды на запах дымом и сажей пропитанных бревен четырехпудовый сом, да так и остался в предбаннике, когда убыла вода. Должно быть, ворочаясь, в поспешности неосторожно толкнул дверь, она и закрылась.

Говорят, что село это раньше называлось Крестово: дома в нем были расположены в две улицы, образующие крест. Однако помещица, владевшая некогда этими землями, решила село переименовать, а так как крест по-гречески будет «ставрос», то и получилось Ставрово.

Теперь, сделавшись районным центром, село стало быстро расти и прихорашиваться. Особенной заметности рост и прихорашивание достигли за последние годы.

Надо ли говорить про эти годы, про значение их для роста и прихорашивания целой страны! Начиная с Москвы, вокруг которой выросли как бы целые новые города, кончая любой деревенькой в Вологодской ли, Рязанской ли, Владимирской ли области, так что не найдешь деревни, где не желтели бы свежие срубы, — всюду, от Москвы до Владимира, а от Владимира до деревеньки, допустим Останихи, не только что невооруженному, но даже и подслеповатому глазу нельзя не заметить роста и прихорашивания.

В Ставрове этому способствовало еще и вот что. С незапамятных времен на окраине Ставрова за стареньким забором существовали останки некой текстильной фабрики, виднелся краснокирпичный корпус и еще какие-то там постройки. Фабрика была заброшена со времен революции, когда вынужден был бросить ее и сбежать хозяин-фабрикант. По счастливой случайности помещения остались целы. Решено было обосновать в них производство автомобильных насосов. Так появился в Ставрове завод «Автонасос».

Сначала ничего не было заметно: ну, «Автонасос» и «Автонасос», подумаешь, какое дело! Но вот совсем уж недавно недалеко от завода, на выезде из села, началась стройка, и вскоре появились хорошие, городского типа дома — квартиры для рабочих, детские ясли. На территории завода пошли расти корпуса, в селе открылся стадион (своя футбольная команда — гордость ставровцев, несмотря на то, что в районной газете то и дело читаешь заметки с заглавиями вроде: «Заслуженное поражение», «Опять проигрыш», «Победили гости»), оборудовали районный Дом культуры, построили новую школу, прибавилось читателей в библиотеках, посетителей в чайной, покупателей в магазинах, рыбаков на Колокше, село преобразовали в поселок, с Владимиром наладилось бойкое автобусное сообщение.

В широких пределах Ивановской области и Владимир и Кольчугино были два равноправных города, существовавшие сами по себе, и связь с областью, то есть с Ивановом, была у них у каждого своя. Друг с другом постоянно и повседневно им можно было вообще не связываться.

Но когда образовалась Владимирская область, дело переменилось. Кольчугино оказалось на окраине области, и все с очевидностью увидели, что оно прочно отрезано от Владимира бездорожьем, и, чтобы попасть из Владимира в Кольчугино, нужно ехать ни много ни мало через столицу нашей Родины Москву, совершая длительное путешествие с пересадками, тогда как между этими городами не наберется и семидесяти километров.

Наверно, этому предшествовали какие-нибудь события: хлопоты секретаря обкома, звонки его в Москву в соответствующие организации, или, может быть, обстоятельные совещания, или, может быть, даже споры на совещаниях, а потом принятие решений. Ничего этого не могли видеть люди, путешествующие по ставровской дороге. Они увидели сразу результат: в одно мгновение исчезла, как бы растворилась в воздухе, идиллическая картина — четыре мужика, сидящие на дороге с молотками в руках возле кучи булыжника, — за дорогу взялось государство.

Строительство дороги попало в план, были отпущены большие деньги. Отряды тяжелых землеройных машин, гремя неуклюжими стальными сочленениями, миновали Ставрово и уползли в глубину Ополья. Я не буду рассказывать, с какой чудовищной силой и с каким неожиданным проворством бульдозеры передвигали с места на место горы земли, как быстро выравнивали грейдеры полотно будущей дороги, как прочно укатывался катками сиренево-серый булыжник.

В разгар строительства дороги гостил у меня товарищ из Москвы, человек городской, не сталкивавшийся ранее с девственными уголками природы. Я ре-

шил провести его по своему заповедному буераку, все больше и больше окружая таинственной лесной сказкой. Сначала все шло хорошо. Но скоро явственный шум моторов, и некий грохот, и некий скрежет начали доноситься до нас и мешать созданию нужной лесной атмосферы.

Гром и треск стали настолько явственными, что мы прибавили шагу и побежали вперед, продираясь сквозь дремучие заросли. Выбежав на то место, которое я считал наиболее глухим и дремучим, мы увидели, что вдоль по буераку, зайдя в него со стороны лесной речки Езы, подвигается тяжелое стадо бульдозеров. Бульдозеры взрыхляли каменное дно лесного ручейка, ловко отделяя землю от камней, которых большие кучи лежали там и тут. Самосвал, нагруженный камнями, уезжал из буерака на строительство дороги. Человек сорок девушек и парней дружно нагружали камнями помянутый самосвал. Трава, цветы, кустарник и даже деревья — все это было измято и перепутано между собой, превращено в грязную мочалку и отброшено в сторону или отбрасывалось в сторону по мере продвижения бульдозеров — этих танков мирных строительных будней.

Вот когда я осмыслил с четкостью, что значит соприкосновение техники с природой, и по-настоящему понял, что техника может все.

Московский друг мой не был огорчен внезапным исчезновением обещанной ему лесной глухомани и, пока я созерцал баталию, успел поухаживать за молоденькой девушкой, затенившей смуглое лицо свое от солнца яркой красной косынкой. Он помогал ей тяжелой кувалдой раздрабливать большие валуны, которые иначе трудно было бы поднять в автомашину.

По мере того как продвигалась по буераку техника, разворачивая и коверкая все вокруг, в нескольких километрах от Самойловского леса, приобретая четкость очертаний, стремительность и своеобразную красоту, все длиннее и длиннее становилась шоссейная, мощенная камнем дорога. Менялся пейзаж здесь, в лесу, но менялся пейзаж и там, в поле. Я уверен,

что никто, кроме меня, не пожалел лесного буерака, но дороге обрадовались тысячи людей. Вот и проблема столкновения личного с общественным. Впрочем, что я? Разве дорога не была и моим личным делом? Разве не я замерзал на ней однажды и разве не мне ездить по ней в свое родное село Олепино?!

Дорога до Кольчугина была закончена в одно лето.

Моя мать, восьмидесятилетняя старушка, придерживается твердого мнения, что народ теперь избаловали.

— Да как же, неуж не избаловали? Бывало, лошадь до Ундола почиталась за большое счастье: ах-ах, лошадь на Ундол идет, попутная подвода, вот хорошо-то, вот повезло-то как, пешком не идти, с сумками не тащиться! А теперь, поди-ка поговори с ней (имеется в виду обобщенный образ пассажирки, в который входит и девушка, поехавшая в город за модными туфельками, и старушка, пробирающаяся в собес), поди-ка с ней поговори! На грузовике она не поедет: «Ишь ты, поеду я на грузовике! Я и легковушку подожду, небось не на поезд, торопиться некуда».

Во всякое время (видимо-невидимо развелось!) идут машины по дороге Владимир—Кольчугино. Идут автобусы, грузовые такси, и просто такси, и «частники», то есть чьи-либо личные машины, но больше всего деловые работяги-автомобили: самосвалы, бензовозы, колхозные полуторки, трехтонки. Ночью посмотришь в сторону шоссейной дороги, и видно (особенно в осенние темные ночи), как, прорывая мрак, то стелясь по земле, то вскидываясь кверху к низким, серым облакам, светят фары.

Четыре километра — велик ли путь? Выходи с полевой витиеватой тропинки на прочную каменную дорогу, ночью ли, днем ли, поднимай руку, и вот уж, держась за кабину, пошире расставив ноги для устойчивости, мчишься сквозь темень и выскакиваешь с каменки на асфальт (а скоро будет бетонированная автострада с односторонним движением), а там уж иные широты, иное состояние духа, несмотря

на то, что все та же, все наша, все русская же земля.

Итак, четыре километра от Олепина до шоссе. Возвращаясь к началу этой главы, я должен сообщить: чтобы получить понятие, где происходит все, что будет описано в этой книге, нужно, не теряя времени даром, сесть возле Курского вокзала на автобус, отправляющийся во Владимир. Во Владимире вы пересядете на кольчугинский автобус и через час или полтора окажетесь в Черкутине, то есть в четырех километрах от Олепина.

Может быть, у вас есть своя машина? Тогда дело обстоит еще проще. За четыре часа можно доехать до Олепина от Москвы, если, конечно, перед этим не выпадет дождь и последние четыре километра пропустят вас беспрепятственно.

Наши сельские водители, например, хорошо зная дело, не рискуют в непогоду пускаться в это четырехкилометровое, казалось бы ничтожное, но чреватое неприятными неожиданностями плавание.

У меня всегда получается так, что, пока я живу в Олепине, стоит хорошая погода и ежедневно уходят колхозные машины и в Ставрово и во Владимир чуть ли не от нашего дома: они заправляются бензином поблизости в сарае. Но как только нужно ехать в Москву, начинается дождь и приходится по грязи шлепать в Черкутино, чтобы ловить там попутный автомобиль или дожидаться законного владимирского автобуса.

Иногда я задумываюсь: если так сильно переменилось все в лучшую сторону, если появилась дорога, а на ней множество автомобилей, наверно, дело не будет стоять на месте и дальше, но будет развиваться и улучшаться в еще большей степени.

Я думаю, что вскоре из Владимира в Кольчугино пойдет троллейбус и полетят вертолеты с приземлением по требованию пассажиров. Тогда можно будет по веревочной лестнице спуститься прямо на крышу дома или прямо в Попов омут, и четыре километра, отрезающие нас от просвещенного мира, окончательно потеряют свое значение.

* * *

До Олепина не трудно доехать. Но ведь человеку иногда приходится путешествовать, преодолевая не только пространство.

Вот какие ощущения подарила мне жизнь однажды, когда земное утро застало меня не в постели, не в избе или городской квартире, а под стогом сена на берегу реки Колокши.

Не рыбалкой запомнилось мне утро этого дня. Не первый раз я подходил к воде потемну, когда не разглядишь и поплавка на воде, едва-едва начинающей вбирать в себя самое первое, самое легкое посветление неба.

Все было как бы обыкновенным в то утро: и ловля окуней, на стаю которых я напал, и предрассветная зябкость, поднимающаяся от реки, и все неповторимые запахи, которые возникают утром там, где есть вода, осока, крапива, мята, луговые цветы и горькая ива.

И все же утро было необыкновенное. Алые облака, округлые, как бы туго надутые, плыли по небу с торжественностью и медленностью лебедей; алые облака плыли и по реке, окрашивая цветом своим не только воду, не только легкий парок над водой, но и широкие глянцевые листья кувшинок; белые свежие цветы водяных лилий были, как розы в свете горящего утра; красные капли росы падали с наклонившейся ивы в воду, распространяя красные, с черной тенью круги.

Старик рыболов прошел по лугам, и в руке у него красным огнем полыхала крупная пойманная рыба.

Стога сена, копны, дерево, растущее поодаль, перелесок, шалаш старика — все виделось особенно выпукло, ярко, как если бы произошло что-то с нашим зрением, а не игра великого солнца была причиной необыкновенности утра.

Пламя костра, такое яркое ночью, было почти незаметно теперь, и бледность и незаметность его еще больше подчеркивали ослепительность утреннего сверкания.

Таким навсегда мне и запомнились те места по берегу Колокши, где прошла наша утренняя заря.

Когда, наевшись ухи и уснув снова, обласканные вошедшим в силу солнцем и выспавшись, мы проснулись часа три-четыре спустя, невозможно было узнать окрестностей.

Поднявшееся в зенит солнце убрало с земли все тени. Пропала контурность, выпуклость земных предметов, подевалась куда-то и свежая прохлада, и горение росы, и сверкание ее; луговые цветы померкли, вода потускнела, а на небе вместо ярких и пышных облаков вуалью распространилась ровная, белесоватая мгла.

Было впечатление, что несколько часов назад мы волшебным образом побывали в совершенно иной, чудесной стране, где и алые лилии, и красная рыбина на веревке у старика, и трава переливаются огнями, и все там яснее, красивее, четче, точь-в-точь как бывает в чудесных странах, куда попадаешь единственной силой сказочного волшебства.

Как же попасть опять в эту дивную алую страну? Ведь сколько ни приезжай потом на место, где встречается речка Черная с рекой Колокшей и где за былинным холмом орут городищенские петухи, не проникнешь, куда желаешь, как если бы забыл всесильное магическое слово, раздвигающее леса и горы.

Сколько я ни ездил потом рыбачить из Москвы на Колокшу, не мог я попасть в ту страну и понял, что каждое утро, каждая весна, каждая любовь, каждая радость неповторимы в жизни для человека.

Тогда-то и вспомнилась мне самая дивная из всех волшебных стран — страна моего детства. Ключи от нее заброшены так далеко, потеряны так безвозвратно, что никогда, никогда, хотя бы одним глазком, хотя бы одну пустяковую тропинку, не увидишь до конца жизни. Впрочем, в той стране не может быть пустяковой тропинки. Все там полно значения и смысла. Человек, позабывший, что было там и как было там, человек, позабывший даже про то, что это когда-то было, — самый бедный человек на земле.

В самом деле, разве, приезжая в родное село Олепино, я вижу те же дома, те же деревья, ту же речку Воршу и тот же Самойловский лес?

А где огромная гора от села к реке? Не в этом ли пригорке я должен узнать ту гору, на которую, бывало, если забежишь без отдыха, побившись об заклад, потом никак не отдышишься?

Не должен ли я этот жалкий, в сущности, песчаный обрыв над рекой, заросший где ольхой, где сосенками, принять за ту кручу, за тот так называемый утес, где прятались «партизанские отряды», действовали «пограничники с собаками», убивали друг друга «морские пираты» и где, наконец, после того как разобьешь неосторожно горшок со сметаной, можно было считать себя надежно спрятавшимся от всего остального мира?

Может быть, Самойловский лес, который хорошим шагом можно пройти за час-полтора хоть вдоль, хоть поперек, и есть те дикие таежные дебри, в которые боязно было углубляться от светлой теплой опушки, потому что вроде бы до самого края земли простерся этот лес, и все, чему положено быть в лесу: и братья-разбойники, и избушка на курьих ножках, и цветущий в колдовскую полночь папоротник, — все это там, в дебрях этого леса?

А эта неинтересная, обыкновенная солома! Разве она та самая, что пахла солнцем и полем, когда мы проделывали в ней норы и прятались там в душистой прохладной темноте?

А сам я, играющий на бильярде и в шахматы, сочиняющий стихи и покупающий игрушки детишкам, сотрудничающий в газете и пишущий статьи в журналы, — разве я и есть главный житель той страны, герой морских сражений и набегов на чужие огороды, спасающий разных там царевен и девочку Надю из пятого класса «А», самый смелый, самый гордый, самый сильный человек на земле? Что вы?! Я обыкновенный, средний, со множеством отрицательных черт и слабостей человек. А тот, другой? Его нет, он остался там, в золотистой теплой мальчишечьей стране, которой тоже больше нет ни на земле, ни на кар-

те. Почему-то сохранились от нее названия: Самойловский лес, река Ворша, Журавлиха, село Олепино, Кормилковский овраг... И по совсем уже странной случайности до сих пор я ношу имя того мальчишки, который жил в заповедной стране.

* * *

В последние годы мне много приходилось наблюдать, как играют, чем развлекаются московские ребятишки разных возрастов — от малышей до подростков. Каждый раз, когда смотришь на городского мальчишку, мчащегося вдоль тротуара на роликовом самокате, или виснущего на подножке трамвая, или отправившегося с коньками в чемоданчике на ближайший каток, или на мальчишек, толкающихся возле кинотеатра, или бегающих увлеченно по лестницам многоэтажного дома, или разводящих рыбок в аквариуме, или кормящих чижиков в клетке, или гоняющих голубей, или продающих тех голубей на птичьем рынке, или строящих авиамодель во Дворце пионеров, да и мало ли еще чего делающих, что свойственно делать городским мальчикам, — когда я вижу все это, я каждый раз вспоминаю наши игры, увлечения, забавы, игрушки, вспоминаю свое деревенское детство.

Не может быть, думаю я, чтобы детство, проведенное в столь разных условиях, за столь разными играми, не сформировало и разных психологий. Но, видимо, были какие-то большей значимости общие вещи (может быть, школа, чтение, ибо мы на колокольне, а они во дворе, но играли в одного и того же «Чапая») либо общие интересы страны, которые касались и ребятишек, общая Красная площадь, общая Кремлевская башня, общий бой часов на той башне, общий пионерский галстук, общая карта Родины с яркими значками полезных ископаемых на ней, как бы то ни было, но вот я сижу и разговариваю со своим сверстником, выросшим в городе, коренным москвичом, и разговариваем мы на равной ноге и вполне понимаем друг друга в тонкостях, как если бы росли вместе.

Но когда я разговариваю с морем, только поверхность моря участвует в разговоре со мной: море сверкает, хмурится, переливается, ходит волной, ласково плещется, голубеет или отливает сиреневым, а глуби́ны его есть глуби́ны, точно так же, как и мои.

И вот в разговоре с другом мы, оба писатели, говорим о стилевых тонкостях Шарля Нодье или об афоризмах Генриха Гейне, мы обсуждаем новый кинофильм и последнюю выставку живописи на Кузнецком мосту, и пусть мы взволнованы, пусть в разговоре участвуют не только самые верхние слои моей или его души, но пусть мы взволнованы до глубины души, — все равно у каждого из нас в еще большей, подспудной, в подсознательной, может быть, глубине лежат только наши золотые россыпи, только наш опыт жизни.

Через какую-нибудь детальку вдруг и заглянешь в те недоступные, неприкосновенные сферы.

— Ты знаешь, мне так было больно, как будто меня в язык ужалила пчела.

— А как она жалится?

— То есть как это «как»? Тебя что, никогда не жалила?

— Нет, а разве обязательно?

— Не обязательно, но очень уж чудно. А малину в лесу ты собирал?

— Разве малина в лесу растет? Я думал, что — садовое растение.

— Да тебе лошадь-то запрягать приходилось или нет?

— Что ты, запрягать! Я, если хочешь знать, ни на телеге, ни на розвальнях ни разу не ездил. Слышал, что бывают розвальни, а как на них себя чувствуешь, не знаю. Наверно, очень тряско?

Ну, могу я ему объяснить, что в розвальнях не тряско? Но как я расскажу ему про долгую зимнюю дорогу, про настроение зимней дороги, про светлую печаль и щемящую радость ее? Как я ему расскажу про нее, если надо сначала объяснять, тряско или не тряско в розвальнях?

Но я уж чувствую, что предисловие получилось слишком тяжеловесным для того незатейливого, что я хотел рассказать в этой главке.

Детство бегало босиком. Не то чтобы вовсе не во что было обуть ноги, но считалось само собой понятным, что летом нужно ходить босиком. Да и какая обувь могла бы выдержать ту нагрузку, которая на нее пришлась бы! Только одни подошвы на свете, а именно те, с которыми родились, выдерживали в конце концов. И то иногда влезет в ногу, пропоров толстую, огрубевшую кожу, сантиметра три-четыре ржавого (в красных бугорках ржавчины) толстого кривого гвоздя, и потечет из черной, как земля, ноги алая густая кровища. Почему-то особенно густая кровь текла из ноги, не как из носу или еще откуда. Обмоют подошву теплой водичкой — сразу из-под черноты проступает желтая твердая кожа, — завяжут как следует, и будешь несколько дней прыгать на одной ноге, а на другую ногу лишь приступать на пятку или на пальчики.

Ходить по самой колючей стерне, по самой низкой кошенине и по самому острому щебню, лазить по самым ветхим, с задранными углами железным крышам, а также по сучковатым высоким деревьям, целыми днями мокнуть в пруду или речке, находиться в течение большого времени обмазанными илом или грязью — все могли ребячьи ноги. Правда, случались неприятности. Огрубеет, потрескается кожа, образуется множество ранок, как все равно курица исклевала ноги. Наверно, поэтому и называлось это «цыпки». Ляжешь спать, вымыв ноги в теплой зеленой прудовой воде, и вдруг защиплет, начнет разъедать и раздирать, и можешь тогда кататься или бросаться на стенку и орать благим матом — ничто не поможет. Поможет, как и всегда, всемогущая — нет на свете большей опоры и надежды — мать. Сейчас она возьмет чашку со сметаной — и блаженная прохлада ложится на горящие жестким огнем места, и смягчается жесткость, и замирает боль, и сон начинает

тихо кружить, пока не накроет чем-то теплым и черным.

Я не могу сказать, нравилось или нет ходить босиком, как сейчас не отвечу, нравится или нет ходить в башмаках. Это было естественно, мы не замечали этого. Но был день, когда все ощущалось первозданно.

Давно растаял снег, обсохла и обогрелась земля в селе, а возле нашего дома (крыльцо выходит на север) лежит тонкий ледок, остатки высоченного зимнего сугроба. Поэтому, когда все мои друзья бегают по селу босиком, мать запрещала мне, ибо нужно преодолеть эту холодную ледяную полосу, квадрат черной тени посреди красноватого весеннего солнца. В три прыжка я перескочил бы эту тень и вырвался на солнце, но вот не велят.

— Мам, я живо перескочу!

— Сиди уж крепче, на чем сидишь! Всю зиму обутый ходил, так разве можно сразу голыми ногами на лед? Ты что-то чудишь, надо исподволь, привыкнуть, а ты — эвона!..

Но я вижу, что она про себя раздумывает и размышляет: «Нись пустить его босиком, нись рано?» Знает она и то, что, убежав подальше, я все равно разуюсь, буду бегать, как все, да еще и забуду где-нибудь свои сапожонки, а их кто-нибудь подберет...

— Ну беги, да смотри, если ноги будут зябнуть, сейчас приходи домой.

Весенняя земля, прибитая, утрамбованная прошедшими на днях дождями, упруга. Она кажется мягкой и вроде бы мнется под ногой, но на ней не остается следа; она кажется теплой, но все еще холодит отвыкшие за зиму босые ноги. Изнутри, из глубины прохолаживается верхний нагретый слой. Бегом пронесешься вдоль всего села, потом в обратную сторону, потом вокруг ограды и все никак не остановишься — такая легкость и свобода обуяют в первое время. Точь-в-точь как и телят и коров, когда придет день первого выгона. Кстати, события эти — важнейшее событие в жизни мальчика и важнейшее событие в жизни целого села — часто совпадают по времени.

Давно подрядили пастуха, и коровы давно беспокоятся в хлевах, мычат, напирают грудью на прясла. Кормишко кончился — последнюю горсть сена растрясли, смешали с соломой и дали скотине, — и колхозники, изболевшись душой, ждут не дождутся выгона.

День этот — праздник, и то ли совпадение, то ли нарочно подбирают, но всегда он солнечный, теплый, красный. Пастухи сегодня — герои дня, главнее их нет в селе. И если важно выглядит и ступает по земле сам пастух, «старшой» с кнутом, свитым в кольца и надетым через плечо, с ореховой палкой, прочность которой выверена годами, то нечего говорить про подпаска! Вроде бы такой же мальчишка, как мы, но онто хорошо понимает, какая пропасть, какая высота отделяет его от нас. И кнут у него не короче пастушьего и сапоги, пожалуй, не меньше...

Между тем село наполняется громким блеянием овец, мычанием коров, криком возбужденных людей.

— Держи, держи ее! — кричит, к примеру, Иван Митрич своей жене, упустившей корову. Корова у них «благая», она вырвалась у хозяйки и теперь бегает, волоча за собой веревку, и не просто бегает, но то взбрыкнет задними ногами, то пойдет кругом, подняв хвост трубой, то метнется в сторону, как бы испугавшись чего-то и мотнув головой с широкими черными рогами.

Овцы бегают стаями в панике, беспрестанно то бросаясь к своему двору, то ударяясь через прогон в поле.

Ягнята резвятся, подпрыгивая на месте сразу всеми четырьмя ножками и при этом как-то боком-боком перепрыгивая с места на место.

Почти всех коров хозяйки выводят на веревках. Одно дело, когда резвятся ягнята, а другое дело, если начнут играть коровы и какая-нибудь корова распорет другой драгоценное вымя.

Но вот издали раздается, наводя грозу и ужас, короткий могучий басок быка. С длинным буграстым телом, с головой, что твоя телега, причем шерсть на

лбу завита в мелкие упругие колечки, с опущенными слегка рогами и недоброй краснотой в глазах, идет он, ударяя время от времени в землю то копытом, то рогом, и все живое, начиная от кур и нас, ребятишек, и кончая взрослыми мужиками, шарахается от него в разные стороны.

Коровы невзрачны теперь, после зимы. Бока у них в жестких корках навоза, а то и вовсе до глянцевой розовости облиняли коровьи бока. Тем не менее бык облюбовал себе ширококостную пеструю корову, и девчонке, сопровождавшей ее, пришлось бросить веревку и отбежать подальше.

Потом где-нибудь на лугу, идя мимо стада, мы с видимым равнодушием будем смотреть, как бык, неожиданно легко вскинув свинцовую свою тушу, вдруг поднимется над коровой, весь словно пружина собравшись для этого прыжка, и как едва-едва устоит на прямых напружинившихся ногах корова...

Время птичьих гнездований и лопающихся древесных почек, время студенистой лягушачьей икры и расцветания цветов, время влажного тепла и прорастания зерен; время великого обновления земли.

Когда наши предки были еще язычниками, и ветер, и дождь, и земля — все это были для них боги, а самым могучим богом было солнце, тогда они весной, едва обсохнет какая-нибудь высокая горка, собирались на эту горку и играли там, возбужденные возвратившимся теплом, и называлось это ярилины игры.

Я думаю теперь, что не от тех ли, в сущности, не очень далеких времен и в нашем селе остался обычай в первые весенние дни собираться на буграх. Правда, разнообразные некогда игры свелись теперь к двум-трем, а главным образом к игре с мячом, а именно «в долгую лапту». Этот обычай умер на моих глазах в годы войны, и сейчас его не так-то просто возродить снова.

Бугры — это именно бугры: высокие обширные

холмы, вырастающие один из другого и постепенно снижающиеся в сторону реки. Несмотря на округлость форм холмов, там легко можно было выбрать ровную площадку, пригодную для лапты.

Идти на бугры приходилось по сырой, студеной земле, кое-где по снежку, зато на самих буграх можно и разуться, настолько на припеке обогрелась земля с плотной прошлогодней травой. Люди разувались, и это сообщало им особую резвость.

Вот стоят две «матки», равные по силе и ловкости игрока. А мы идем загадываться, разбившись на равные по силе пары. Отойдешь с товарищем в сторону, пошепчешься: «Давай, ты будешь прясло, а я плетень» (или ты будешь ястреб, а я голубь, или ты будешь плуг, а я борона, или ты будешь амбар, а я сарай); загадавшись, идем к маткам, дожидающимся в стороне.

— Плетень или прясло?

— Прясло, — говорит один «матка».

И товарищ мой, поскольку он «прясло», идет к этому «матке», а я остаюсь у другого.

Пара за парой подходит к маткам.

— Гвоздь или подкову?

— Топор или топорище?

— Лес или реку?

Девушки придумывают себе нежные символы:

— Сирень или черемуху?

— Василек или незабудку?

— Голубое или красное?

Интересно отметить, что течение жизни и изменения ее тотчас находят отклик и в этих символах, которые я отношу к фольклору, вместе со всевозможными детскими считалочками.

Недавно, проходя мимо мальчишек, я слышал, как они загадывались:

— «С-80» или колёсник?

Легко можно предположить и такие сочетания:

— Трехтонку или полуторку?

— Силос или вику?

— Мир или войну?

— «ТУ-104» или спутник?

Таким образом, все разделяются на две большие партии, примерно равные по силе и ловкости, поскольку равными были игроки в каждой паре.

Много качеств воспитывает лапта: метко и сильно ударить по мячу палкой, артистически поймать в руки маленький, быстро летящий мяч, без промаха бросить этот мяч в бегущего игрока, уметь увернуться от мяча, подпрыгнув или упав, уметь быстро, порывисто бегать, ну, и смекалка, и в какой-то степени риск и смелость, или, лучше сказать, удальство, и общее физическое развитие, а главное, конечно, было в том, что лапта сдружала, что она тоже по мере сил служила весне и молодости.

Появились в селе так называемые «кишочные» мячи. Их мы еще называли «литыми» и предпочитали дутым мягким мячам. Литой мяч летит далеко от удара палки, высоко и легко скачет по земле. Зато его труднее ловить в руки, особенно если игрок сделает «свечу» — запалит мяч высоко в небо. Чувствительно врежут тебе таким мячом промеж лопаток. Особенно стремишься изловчиться и увильнуть от удара.

Незнойкое солнечное, именно красное тепло, сочетающееся с прохладой, задержавшейся в воздухе от недавнего снежного времени, начинающие зеленеть бугры, быстро летающий мяч — все это возбуждало, пьянило, мы заигрывались почти до темноты, когда уж не то летит мяч, не то промелькнула птица.

Будучи здоровым малым, я как-то немного терялся, когда нужно было бить палкой по мячу, и часто «мазал», промахивался или попадал по краешку, и мяч не улетал далеко. Многое ко мне в жизни пришло с запозданием. Не так давно, будучи студентом, отслужив свой срок в армии, я колол дрова возле дома. Подбежал Шурка Глафирин.

— Воедя, а Воедя, ударь по мячику.

Я выбрал палку по руке, и Шурка «подал» мне литой мячик, то есть кинул его кверху в воздух. Целиться палкой по мячу бесполезно, нужен общий «глаз» и общая реакция. Палка и мячик хлестко столкнулись в воздухе, и мяч вдруг превратился в черную горошину, взмыв в глубокую голубизну,

и вовсе исчез из глаз. Ребятишки нашли его около Бакланихина сарая и долго обсуждали событие: Володя Солоухин забил мяч от своего двора до Бакланихина сарая!

Хоть бы один раз ударить так, когда, бывало, ждут выручки товарищи игроки, и наверняка знаешь, что, кроме всех других, еще и в одних девчоночьих глазах незаметно для всех прыгнул бы зайчик восторга и тайной гордости за твой беспощадный, молодецкий удар.

Большинство забав определялось течением деревенской жизни. В сущности, молотьба с гонянием лошадей, покос с ношением завтрака в луга, навозная с катанием на лошадях — все это были сначала увлекательные развлечения и игры, которые исподволь, незаметно для нас самих, превращались в труд.

Не придет в голову городскому мальчишке увлекаться пастушьими кнутами, а у нас это увлечение было повальным, и все мы прошли через него. Кнут, толстый у основания, все более и более сужающийся, длиной в пять-семь метров, с волосяной хлопушкой на конце, являлся мечтой, а если он есть, то гордостью каждого мальчишки. Короткая рукоятка этого длинного кнута украшена разными рубчиками и клеточками. Волосы на хлопушку мы дергали из хвостов у неповоротливых, заезженных кляч и плели хлопушки сами. Считалось, что белая хлопушка из хвоста Пальмы хлестче, «горазже», чем черная из хвоста, например, Разбойника. Но сплести сам кнут было нам не по силам.

Шурка Московкин хорошо умел плести кнуты и потихонечку брал у нас подряды:

— Укради у матери двадцать копеек — сплету кнут.

Таким образом, за двадцать копеек сплел он кнут Вальке Грубову и, принеся его однажды к вечеру, заговорщически тихонько поскреб у окна. Валька выбежал на улицу, поглядел кнут, замер над ним душой и побежал в избу воровать двадцать копеек. Пробыв в избе довольно долго, он вышел, наконец, весь красный от смущения и сказал:

— Денег нет, а нá ватрушку...

Шурка начал ругать его шепотом:

— Ах ты, такой-сякой, обманщик, зачем мне твоя ватрушка, у нас у самих ватрушки белее ваших!

Однако кнут отдал, потому что материал был заказчика, то есть Вальки Грубова. Этот кнут грохал в наших руках со звучностью настоящего выстрела: кнут ведь затем и существует, чтобы им как можно сильнее грохать.

Вот так грохает, грохает для забавы какой-нибудь Валька, а завтра, глядишь, обул сапожонки — и пошел с тем кнутом пасти сельских телят, а то и в подпаски.

Сильно занимало нас также всевозможное плетение из прутьев. Самым обыкновенным материалом были гибкие, не очень длинные прутья краснотала. Мы резали их около реки и приносили домой в тяжелых, связанных теми же прутьями пучках. Руки пропитывались пахучей горечью, особенно если захочется очистить прутья от кожицы и сплести что-либо из чистых белых прутьев. Долго пахнет ворох постепенно высыхающей под солнцем ивовой горькой шелухи.

Сначала плели плетки. Плетка из четырех или восьми прутьев считалась неинтересной и никак не ходила среди мальчишек. Зато, если ты научился и сплел из двадцати четырех, то тяжелая, округлая в своем сечении, гибкая, хлесткая, она становилась завистью товарищей. Был еще один способ, когда брался толстый прут и красиво со всех сторон оплетался более тонкими прутьями, так что его самого уж и не было видно. А кто-нибудь вместо прута возьмет и поставит стальную проволоку.

Но плетка — бесполезное баловство и увлечение. Оно быстро проходило. Гораздо серьезнее — верша. Сплетенная из ивовых прутьев, она была непрочна, быстро чернела, как бы обугливалась, в воде, а потом истлевала и разваливалась. Более благородным материалом считались ореховые прутья. За ними нужно было ходить уж не на реку, а в Самойловский лес. Ровные, длинные, без сучка, без задоринки, не зе-

лено-красные, а матово-серого цвета, ореховые прутья в умелых руках превращались в изящные прочные изделия, в которые, казалось, с нетерпением должна устремляться рыба.

Плетешь, плетешь ореховую вершу, а отец подойдет и скажет:

— Слышь-ка, верша вершой, да надо бы коробицу сплести, старая совсем развалилась. Чтобы к четвергу была коробица...

Перед каждым домом весной лежали навалом недлинные березовые и осиновые бревна, приготовленные на дрова. Их возили зимой по санному пути, а пилили, кололи и укладывали в поленницы (все село в ярких золотых поленницах) с наступлением весны. Дрова были излюбленным местом наших мальчишеских сборов. Тут, на дровах, мы сидели, стругая палочки складными ножами, тут обсуждали разные свои дела, тут же, когда хозяева дров начинали их пилить и колоть, мы невольно учились обращению с топором и пилой.

Сейчас врежется пила в дерево — и брызнут на последний голубоватый снежок то сливочно-желтые, если береза или елка, то металлически-белые, если осина, то красные, если ольха, опилки, и вместе с опилками вырвется из дерева то смоляной, то горький, то просто душистый и свежий дух.

Поставишь чурак на попа, возьмешь колун.

— Ну, со скольких ударов расшибу?

— С пяти, — скажет Васька Кузов.

— С одного.

— Спорим, что с пяти?

— Спорим, что с одного?

— На сколько?

— Если с одного не расшибешь, то еще десять чураков колоть.

— Ладно. А если с одного расшибу, то тебе десять.

Теперь нужно внимательно осмотреть срез чурака. Найти, как расположены сучки, чтобы ударить точно

промежду сучков, а главное, обнаружить хоть крохотную, хоть с волосок тониной трещинку. Трещинка сама по себе ничего не значит, но она покажет, в какой плоскости полено слабже всего. Пятеро или шестеро мальчишек — судьи нашего спора.

Высмотришь трещинку и сучки, встанешь устойчивее перед чураком, точно от середины головы хряпнешь по свежему срезу — и с звучным щелчком разлетится чурак на две плахи, ослепительно сверкнет на солнце гладкой белизной с красной узенькой сердцевиной.

Но бывает, что ударишь, а колун либо отскочит, как от резины, либо завязнет, и нужно раскачивать его, чтобы высвободить из дерева. Тогда придется колоть десять чураков, тогда снимай тужурку — будет жарко.

Разумеется, не все забавы находили потом практическое применение в крестьянствовании. Детство есть детство, и игрушки есть игрушки. Игрушек нам не покупали в универсальных детских магазинах, мы их делали или находили сами. И сноп ржи, и колун, и кнут, и верша, и сама река — все это были наши игрушки.

Самой драгоценной, самой нужной вещью, которую все же покупали нам в городе, был складной перочинный ножик, особенно если с костяной ручкой. Ни сплести вершу, ни обделать рукоятку для кнута, ни вырезать палку, ни срезать дягиль, ни смастерить рогатку, ни просто так задумчиво построгать палочку, сидя на весенних дровах, невозможно без перочинного ножа.

Выбрав в лесу хорошую ореховую палку, мы иногда обделывали ее на свой манер, а именно: очищали от кожуры и, гладкую, влажную, сочную, умеючи обжигали на пламени костра, время от времени протирая пучком сырой травы. Палка получалась черная и блестящая, как если бы она была из черного дерева и при этом тщательно отполирована.

Острым складным ножом на палке вырезали разные узоры: то пустишь белое колечко, то некоторую часть палки обовьешь тонкой белой спиралькой, то

украсишь ее мелкой шахматной клеточкой, после чего пустишь три белых колечка. Ромбики, крестики, косая сетка, продольные частые луночки — все шло в ход для украшения палки.

Когда подходила к концу учеба в Литературном институте и нужно было вскоре прощаться с друзьями (хороший был друг болгарин Гоша Джагаров), случилось мне на несколько дней поехать в Олепино. Я вспомнил детство и пошел в Самойловский лес. Там вырубил я узловатую, сучковатую можжевеловую палку. Утолщение возле корней и часть самих корней образовали причудливый тяжелый набалдашник, напоминающий не то голову орла, не то голову собаки. Эту палку я тщательно очистил от кожуры и, оставив в неприкосновенности узловатость и сучковатость ее, по всем правилам и даже более тонко обжег на костре. Я мог бы ее после этого отнести в антикварный магазин, где продают разные клюшки, и там сбыть по дорогой цене — настолько получилось оригинальное произведение. Но я знал, зачем ее делал.

Георгий Джагаров страшно обрадовался неожиданному сувениру. А потом мне рассказали небольшой инцидент, связанный с этой ужасной дубиной, способной уложить и медведя.

На Внуковском аэродроме, где садились в самолет болгарские товарищи наши, кто-то из работников посольства заметил, что у Джагарова как-то неестественно оттопырено на груди и животе пальто. Было впечатление, что он там прячет нечто громоздкое. А ведь прячут обычно контрабанду. Работник посольства поинтересовался, что там такое. Георгий смутился, покраснел, но не захотел расстегнуть пальто. Стали требовать — Георгий заупрямился. В конце концов пришлось, конечно, уступить, и дело кончилось веселым смехом и величайшим смущением Георгия. Зато в Софии, когда я спустя несколько лет зашел к Георгию в гости, первое, что мне бросилось в глаза, была можжевеловая клюшка, вырубленная в нашем Самойловском лесу, недалеко от лошадиного погоста.

Лес, чьей представительницей в софийской квартире моего друга является можжевеловая клюка, не так велик, если посмотреть на него теперь трезвым взглядом. Но поскольку нет поблизости большого и поскольку вокруг Олепина там и сям растут еще более маленькие леса, то и зовется он Большим.

— Куда ходили по ягоды?

— В Большой.

— Откуда дровишки?

— Из Большого леса, вестимо.

По характеру своему он, может быть, даже слишком смешанный, потому что иной раз неплохо, если попадались бы места чистой сосны, или чистой березы, или, например, чистая липовая роща.

Но нет. У подножия могучей сосны обязательно вырастет куст бересклета, промежду редких елей распространится, перепутавшись, непролазный орех, а там, где чистое и голубое небо разлиновано, исхлестано розовым дождем высоких тонкоствольных берез, яркие от молодости своей, чистенькие, стройные, такие плотные, что и птица не залезет в середину шатра, живут на полянах елочки.

По буеракам да оврагам и такие встречаются ели, что длинные бороды белого мха свисают вниз, отягощая ветви, и стоят мрачноватой стеной замшелые от старости деревья, как если бы пришли из сказки. Между ветвей, в глубине таинственной и тенистой, как в пещере, вьют себе гнезда совы и филины, и, значит, загораясь по вечерам, будут светиться оттуда зеленые «кошачьи» глаза.

А то вдруг жидкая, не успевшая набраться солидности в погоне за солнцем рдеет молодая рябина. Со всех сторон обтеснили ее деревья, и захочет теперь упасть, да не упадет.

А то вдруг увидишь: на черной лесной земле набросаны мелкие зеленые яблочки. Поднимешь глаза, и вот стоит среди деревьев дикая, «несъедобная» яблонька. «Лешовка» — зовут у нас такие яблони, подчеркивая, что только лешему, то есть хозяину леса, впору есть перекашивающие лицо и выворачивающие из орбит глаза кислые, вяжущие плоды. А ведь тоже

небось цвела и старалась, чтобы все было как можно лучше. Может, и она, как иная мать, не променяет своего зеленого плодика на какой-нибудь там рассыпчатый багряный апорт.

Липа рядом с осиной, сосенка возле черемухи, клен посреди лещины... А в темно-зеленой дремучести елочек нет-нет и вспыхнут ясные розетки шиповника. Подрастя, елка задушит его в своих колючих объятиях, уморит под мрачным, холодным пологом, но пока есть возможность цвести, он цветет, и даже пчелы, откуда ни возьмись, прилетают к нему в дни цветения.

Необыкновенна живопись леса в те весенние дни, когда перепутываются и соседствуют рядом разные изобразительные средства: как видно, природа не заботится о том, чтобы выдержать все в одном жанре и стиле, она хорошо знает, что все, что бы она ни делала весной, все будет прекрасно, от всего не оторвешь глаз.

Лиственные деревья: осины, ольха, березки — еще голы, стволы и сучья их на холсте безветренного теплого дня набросаны так и сяк — углем и мягким карандашом. Так и видно, что уголь крошился и обламывался, но художник был в экстазе, он отбрасывал негодные карандаши, хватал новые и писал, писал, писал.

То тщательно выписан каждый пень: и как кора завернута на нем в трубочку, и как желтой струйкой высыпается из него труха, и как засох и сморщился на нем прошлогодний опенок; то вдруг смутно и размывчато проступает лес сквозь теплую дымку — одни намеки, одно настроение, которое владело художником в ту минуту, когда он творил.

Прямо по рисунку углем, среди всего серого и черного, не побоялся художник ударить масляной кистью, и вспыхнул осыпанный розовыми цветочками куст волчьего лыка.

Густым, тяжелым маслом написана темень еловой хвои, но перед елями растет березка, и теперь она окропила это «масло» нежной, яркой, солнечной акварелью свежих, только что развернувшихся листоч-

ков. Стоит ли говорить, сколько «воздуха» в этой картине, он тут даже и не достоинство, а то, чего не может не быть.

Змей нету в нашем лесу. Безбоязненно отправлялись мы, оснащенные глиняными кринками, к которым матери приделали удобные державки из веревочки; несешь кринку, как ведерко на поцепке.

Попадется безлесый склон холма, окруженный темным квадратом елей. Не ощущаешь не то чтобы ветерка, но и никакого движения воздуха. Испарения смолы, сухие и жаркие, устоялись возле еловых пней, струятся, колеблются над поляной, как неразмешанный растаявший сахар в стакане горячего чая.

Вокруг каждого пня растут ягоды. Так у нас называют землянику, а уже другие все ягоды зовутся по именам: брусника так брусника, костяника так костяника. Ягоды на открытых полянах возле раскаленных пней некрупные, вроде бы ссохшиеся, но очень сладкие.

На молодой порубке, где не поймешь, что выше: сочная трава или осиновая поросль, — в тенистой, сырой прохладе вызревают ягоды величиной по наперстку, полные земляничной влаги своей, мягкие, нежные, с беленькими пятнышками там, где держались за материнскую ветку. Горсть за горстью кладешь в кринку. Сначала кринка заполняется скоро, но как дойдет до самого широкого места, так и замрет: кидаешь, кидаешь, а киданого нет. Самое главное — наполнить широкий пузырь кринки. Горлышко узкое, с ним справиться легче.

Если увяжется за нами какая-нибудь девчонка, наша сверстница, то нам останется только удивляться, как быстро у нее продвигается дело, как будто у нее не две руки, а десять. Что же, и то правда, что не мужское это дело — собирать ягоды. Оно надоедало нам быстрее, чем успевала наполниться кринка. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас когда-нибудь принес «с краешками», не говоря уж про то, что «стогом». Но и та, что принесешь, высыпанная на белую тарелку, способна так распространить свой аромат, что все уголки избы наполнятся им. Тотчас нужно класть

землянику в чашку, заливать молоком и есть с мягким хлебом.

Ночью ляжешь спать, только задремлешь, а веточка земляники с пятью крупными ягодами ясно встанет в глазах, проглянет, качнется в зеленой траве, и долго еще в глазах ягоды, ягоды, ягоды...

Да, собирать ягоды надоедало нам быстро, и мы ходили по лесу, глядя больше по верхам, чем под ноги. Лес щедр на развлечения: то с ветки на ветку перескочит белка, то, оглушительно захлопав крыльями, вырвется из орехового куста тетерка, то остановимся возле муравьиной кучи, что выше любого из нас. Длинный стебель травы, положенный в кучу, густо облепляют крупные черные муравьи. Потом стряхнешь их, а длинный стебель оближешь, протащив сквозь губы, полакомишься острым душистым муравьиным спиртом.

Однажды мы забрели в буерак в дальнем краю леса. По склону росла крупная земляника. Увлеченные, мы далеко разошлись друг от друга. Раздвинув ветки куста, чтобы пройти дальше, я замер от неожиданного зрелища. На крутом склоне буерака среди густой травы желтела ровная, словно подметенная веником и посыпанная чистым песком, просторная круглая площадка. Над ней нависал кряжистый пень, меж двух рогатых корней которого чернела нора. На площадке кувыркались и играли, как все равно котята, пушистые желтовато-бурые зверьки. Ветка под моей ногой треснула, и площадка мгновенно опустела.

Помню, что было во мне легкое колебание, зародившееся в подспудной глубине: не говорить мальчишкам про дивную находку, — но тоже ведь трудно и не похвастаться! Через пять минут мы целеустремленно мчались из леса, а еще через полчаса возбужденно, наперебой рассказывали мужикам.

Мужики, вооружившись топорами, лопатами и даже кое-кто вилами, отправились в буерак. Аккуратная нора и площадка перед ней тотчас были изуродованы. Целый день копали, рубили корни, разгребали землю, заткнув сначала два запасных выхода.

Пробовали даже выкуривать обитателей норы, разожгя костер. Наконец докопались и увидели прижавшихся друг к дружке пятерых зверьков, перепуганных, скалящих острые беленькие зубенки. Их поклали в мешок и унесли в село, не зная, чьи это детеныши, хотя полагалось бы мужикам знать, кто живет в таким образом благоустроенной норе.

Детенышей посадили под корзинки и коробицы. По ночам возле села истошно скулила мать. Все зверьки запаршивели в неволе, пышная шерстка их свалялась и вылезла, и вскоре они передохли, так и не подрастя до тех пор, когда ясно было бы видно, что это лисенята — будущие беспощадные и главные истребители полевых мышей. Говорят, что каждая лиса (кстати, так же, как и сова) спасает тонну чистого хлеба. Разговору об этих лисенятах хватило на несколько лет. Еще, наверно, теперь многие помняг этот случай, помимо меня, послужившего главным виновником лесной бестолковой драмы.

Мужики вообще очень охочи ударить и убить все дикое, лесное, так сказать, дармовое со стороны природы. Правда, иногда это бывает нужно. Так, например, я помню эпопею по истреблению маленького кровожадного хищника — хоря. Сейчас невозможно вспомнить, кто увидел первый, что хорь мызнул под Пеньков амбар. Всегда позабудешь, с чего, собственно, началась суматоха. Сбежалось все село. Это была чистая баталия. Амбар окружили вооруженные вилами, кольями и палками люди. На днях хорь передушил семь кур у Ефимовых да девять кур у Жильцовых; снисхождения ему ждать было бесполезно.

— Нет ли у него норы под воду, в пруд? — высказал глубокомысленное предположение Иван Грыбов.

— Или он крыса водяная?

Однако упоминание о пруде не пропало даром; сейчас прикатили пожарную машину и, опустив рукав в пруд, начали качать воду. Егор Михайлович Рыжов, как старый брандспойтщик, деловито, серьез-

но направил струю воды под амбар. Ждали, что будет. Сначала хорь не оказывал себя. Но подобие наводнения, видимо, воздействовало на его инстинкт, и вот длинный, изогнутый, ощерившийся зверек выскочил из-под амбара на поляну. Мужики вместо того, чтобы сомкнуть ряды и сплотиться, расступились, пропуская зверька, и в три прыжка хорь был таков. Однако мальчишки побежали за ним и проследили, что он пересек ограду, а затем забежал под поленницу перед домом Ивана Дмитриевича.

Поленница была рассчитана запасливым хозяином на много лет. Она стояла многорядная, длинная и высокая. Пожарная машина здесь не могла уже помочь, способ выкуривания тоже не принес результатов. Но тут пришел, торжественно прихрамывая, Владимир Сергеевич Постнов, и, когда обратились к нему за советом, он не то посоветовал, не то скомандовал:

— В общем... поленницу нужно разобрать.

Разбирали поленницу и женщины, и ребятишки, и те мужчины, что не участвовали непосредственно в вооруженном оцеплении. Через полчаса от поленницы осталась небольшая кучка дров, а хоря не было видно. Упав духом, думали, что он либо убежал, либо мальчишки дали неправильные сведения, но Юрка Семионов пошевелил палкой под оставшимися дровами, и оттуда раздалось злое шипение, а на конце палки появились белые царапины от острейших и как бы ядовитых зубов.

На этот раз мужики, наученные неудачей, решили не разбегаться. И правда, едва выскочил хорь, заметался, запрыгал из стороны в сторону в тесном окружении, как Сергей Бакланихин, изловчившись, сумел поднять его на вилы и с кровожадным хищником было покончено.

Предполагалось, что гнездо у хорей в Кунином сарае, поэтому с вечера навострили там сундук. У обыкновенного сундука приоткрыли крышку и подставили под нее распорку в виде лучинки. К лучинке на веревочке был привязан кусок мяса, спущенный внутрь сундука. Значит, если хорь залезет

в сундук и будет пытаться съесть мясо, то лучинка выскочит и сундук захлопнется.

Но помнится, что в сундук попался Ивана Васильевича Кунина вороватый дымчатый кот.

Находились взрослые люди, которым доставляло огромное удовольствие стравливать нас, мальчишек, между собой. Называлось это драться «на любака».

Вот идем мы с Витькой Гафоновым — хорошие друзья. Только сейчас мы вместе мастерили трещотку или рогатку. Общая работа еще больше сдружила, сблизила нас, и идем мы довольные жизнью и друг другом — не разольешь водой. Но пройти надо мимо взрослых парней, сидящих на осиновых дровах.

— Вовк! Ну-ка, постой!

Мы останавливаемся.

— А тебе не набить Витьке Гафонову! Он тебя сильнее!

— А за что ему набивать? Не за что.

— А он тебе набьет!

Дальше — больше, и вот мы оказываемся друг перед дружкой, и какая уж там дружба! Хотя мы еще не деремся, но медленно созреваем для этого. Мы готовы драться, дело только за тем, кто затронет.

— А ну затронь!..

— Нет, ты затронь!..

Затронуть — значит дотронуться до противника или слегка его толкнуть. Причем если простое дотрагивание и не вызовет с одного раза драки (нужно дотронуться несколько раз), то толчком сразу вызываешь удар по зубам или по носу.

— Нет, ты затронь!

— Нет, ты!..

Тут бы вмешаться умному человеку, и снова пошли бы мы мирно по своим делам, но, как на грех, нет никого поблизости.

Я помню, каким противным становился мир, какой противной казалась жизнь, как хотелось избежать этой нелепости, каким блаженством было бы очутиться сейчас дома за недочитанной интересной книжкой,

но уходить нельзя, тогда ты вовсе трус и последний человек, испугавшийся Витьки Гафонова.

— Нет, ты затронь!..

— Нет, ты!..

Наконец Витька решается затронуть. Глаза мои застилает красный туман, и я не вижу ничего, кроме белого пятна — лица Витьки, куда я должен бить и бить своими неокрепшими кулачонками. Через две минуты Витька бежит домой с красными соплями, голося на все село, или я бегу домой, судя по соотношению сил.

Рано начав читать, я старался избегать таких «любаков». Это было принято за слабость, хотя я был рослее и крепче своих сверстников. Посчитав слабым, стал зариться побить меня Борька Грубов. Его подзадоривали, и он долгое время искал случая. В свою очередь, стали дразнить меня, что я боюсь Борьки Грубова.

— Струсил, струсил, эх ты, испугался, чего уж!

— Не струсил, а просто не хочу.

— Надо чего-нибудь говорить, вот и говоришь «не хочу», а сам боишься! Глядите, глядите, как у него губы-то дрожат: боится!

— Ничего у меня не дрожит! Где ваш Борька, давайте его сюда!

Тотчас побежали за Борькой, и он явился, полный воинственного пыла. Тут и затрагивать не пришлось: атмосфера была накалена. Не успел он встать передо мной, как я спросил:

— Хочешь?

— Хочу!

— Дать?

— Ну, дай!

— На!

Всегда в такой драке меня застилало туманом, я действовал механически, но теперь я был холоден и спокоен. Скоро и рот и нос Борьки окровавились. Нас растащили. Борька плакал и скрипел зубами в бессильной злости и, несмотря на то, что его удерживали два старших брата — Николай и Валька, — все рвался ко мне, подставляя свое разбитое в кровь лицо.

— Ну, дай еще! Ну, дай еще!

В надежде желанного реванша братья отпускали Борьку, он бросался ко мне, но тут же был сбиваем и избиваем. Не помню уж, сколько раз так повторялось, пока братья не увели своего воинственного братишку.

...Если в деревне строится дом, то строительная, так сказать, площадка выглядит чисто по-деревенски: просто лежат на траве желтые сосновые бревна и валяются возле них желтые сосновые щепки. На бревнах выступают частые медовые слезинки, к которым так прочно и так быстро, едва присядешь, прилипают штаны.

Поодаль установлены высокие козлы для распиливания бревен на доски. Два пильщика: один, стоя наверху на козлах, другой — внизу — работают большой продольной пилой, а мы смотрим, как крупные зубья, ерзая взад-вперед по древесине, с каждым разом захватывают неприметный на первый взгляд кусочек расстояния. Но ведь все длинное бревно будет распилено рано или поздно, да еще и не один раз и не одно-единственное бревно. Недаром возле козел лежат высокие, пышные груды опилок.

Пильщики прихожие. У нас в селе и по окрестным деревням своих пильщиков нет. Эта специальность встречается не часто, как, скажем, и специальность кузнеца. Сохранилась, ну, что ли, формула, по которой пильщики, беря работу, рядились насчет харчей. Условие их было такое: щи с приваркой, каша с прибавкой, ломтевой — без отказу, а после обеда два часа отдыха. Пилы свои они носили обернутыми в тряпки.

Прихожий пильщик дядя Кузьма, бородатый, широкогрудый мужик, сидя на опилках и сворачивая из газеты папиросу, говорил:

— Этого леса я вдоль дресвы распилил рощу, ей-пра, не вру — рощу! Вот ежели бы у меня подмышки были сделаны из железа али еще какого материала, можа, меди, а можа, чугуна, давно бы пере-

терлись, ей-пра, не вру, перетерлись! А свои, глянь-ка, все еще держутся и главно, што не скрипят...

Казалось, люди эти необыкновенных, интересных профессий: пильщики, кровельщики или там: «Ре-е-ш-о-о-ты починять!», или: «Углей, углей, кому углей?», или: «Паять, чинить, самовары лудить!», или: «Сте-е-кла вставлять, замазкой мазать!»; казалось, все эти люди приходят из далеких, непонятных мест, а не живут где-нибудь в таких же деревнях, как наша.

Когда пели решетники или стекольщики свою песенку «ре-шо-о-ты починять!», невозможно разобрать было ни одного слова: не то про решета, не то про стекла идет речь. Но дело в том, что у каждого из них своя мелодия возгласа, и по этой мелодии ни за что не перепутаешь одного с другим.

Все они шли вдоль села из непонятной дали и уходили в непонятную даль. Один раз заночевал в нашей избе мальчуган, собирающий милостыню. Ночью мы одновременно выбежали на двор, и, пока делали дело, возникла некая интимность. Я спросил:

— Откуда ты?

— Из-под Спаса-Клепиков, — певуче, не на наш, владимирский, лад ответил мальчик.

Но для меня было одно, что Спас-Клепики, что Китай. Однажды ведь прошел вдоль села китаец, и все повыбежали, несмотря на дождичек, глядеть, как он шел, стремясь к какой-то одному ему видимой цели и поэтому не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на нас, глазевших на него с любопытством ли, с сердоболием ли.

— Куда он? — спросил я у матери.

— К себе, в Китай.

— А где его Китай?

— Дале-е-ко... Пожалуй, ему и не дойти до смерти.

Долго жалел я китайца с желтым лицом, одетого в синие штаны, бредущего под мелким дождем через незнакомое для него русское село.

Теперь-то я знаю, что Спас-Клепики не так далеко, в Рязанской области, и что парнишка тот был близкий земляк лирического русского поэта Сергея

Есенина, и что теперь не нужно из Спас-Клепиков ходить по деревням, собирать куски хлеба. Если бы даже и случился неурожай именно в Рязанской области, то все равно он не стал бы трагедией для десятков тысяч людей. У колхоза есть райком, у райкома — область, у области — огромное социалистическое государство. Правительство сделало все, чтобы исключить случайности из нашей жизни.

Просторы распаханной целины, алтайский, казахстанский, оренбургский, кубанский, украинский, среднерусский хлеб: каравай к караваю, элеватор к элеватору, эшелон к эшелону... И парнишка тот, если пережил войну, может быть, теперь тракторист или зоотехник, а может быть, избач, а может быть, уехал в город и работает на заводе, а может быть, окончил какой-нибудь институт.

Знаю я также теперь, что китаец дошел, наконец, до своего великого Китая...

...До кнутов, до верш, до рогаток, до обжигания палок, до лапты, до лазанья по огородам или птичьим гнездам прошли мы через странное, но яркое увлечение. Наверно, оно сродни тому увлечению семидесятилетнего почтенного профессора, который собирает этикетки со спичечных коробок, или того московского пионера, который охотится за австралийской маркой, или того мальчугана, который выменивает значок на значок у иностранца, приехавшего посмотреть на Москву и Россию.

Я говорю «сродни», но это не значит одно и то же. Нам и в голову не могло прийти собирать что-либо такое, да если бы и пришло в голову, возможности наши были бы очень стесненными. Но мы страстно, упоенно, одержимо, соревнуясь, хвастаясь друг перед дружкой, собирали черепки.

В черной и рыхлой земле, вскопанной под огурцы или капусту, вдруг мелькнет беленькое, и тут не удержишься, чтобы не выковырнуть палочкой и не поглядеть, что там такое. Очистишь беленькое от земли, потрешь о штанишки, и вдруг ясной голубизной или

нежным розовым цветком загорится находка. Не беда, что не весь цветок уместился на черепке величиной с монетку, а лишь тонкий стебелек да половина чашечки уцелели тут, тем больше работы для воображения. Каких только не попадалось черепков! То узкая золотая полоска мелькнет из-под черной земли и, встретившись с солнцем, заиграет и даже уколет глаз крохотным зайчиком, то глубокий пурпур, то ясная синева, то салатная зелень, то темная вишневая краска.

Не то чтобы по одному черепку воображение наше воспроизводило разбитую некогда чашку, тарелку или блюдце, но было это для нас как все равно из другого мира. Черепки с их намеком, с их, ну, прямо-таки недосказанностью были прекраснее и интереснее для нас, чем целая посуда, стоящая в шкафу. Черепки от только что разбитой чашки, валяющиеся на полу, не имели для нас никакой цены по сравнению с тем черепком, что возник из земли или из навоза.

Большую часть интересных черепков мы находили в бывшем поповском огороде, и, надо полагать, посуда у попа в стеклянном шкафу водилась иная, чем на дощатой крестьянской полке, задернутой ситцевой занавесочкой. Еще и поэтому обломками иного мира казались нам цветущие золотой и голубой эмалью черепки.

Самый дорогой черепок принадлежал Вальке Грубову. На нем была изображена сиреневая птичка, сидящая на золотой ветке, а кругом зеленые листья.

Черепки у нас играли роль денег. Чего хочешь можно было купить у товарища за хорошие черепки, и, наоборот, можно было продать за них какую-нибудь безделушку, кроме разве перочинного ножичка. Это была валюта, надежно обеспеченная всеми золотыми запасами детского воображения, детской непосредственности и детства вообще. Мы могли то раскладывать черепки на дощечку возле завалинки, то есть устраивали нечто вроде выставок, то собирали и прятали в холщовые мешочки, трясясь над мешочками, как последние скряги, то в таинственном сладком порыве самоотречения одаривали лучшим череп-

ком соседскую девчонку, и девчонка та должна понимать теперь, что ни дорогие духи, ни золотые сережки с камешками не могли уж потом идти в сравнение с этими первыми подарками.

Последнее, что я помню о черепках, — это ужасная катастрофа, инфляция, потрясшая наше детское «государство». На поповом огороде мы докопались и открыли вдруг там, где некогда была помойка, на глубине полуметра такие напластования черепков, такие запасы и россыпи, накопившиеся за многие годы, что курс каждого черепка в отдельности после этой роковой находки упал почти до нуля, и я уж не помню, чтобы он смог поправиться. Черепки валялись повсюду, и играть в них стало неинтересно.

Но все же я с благодарностью вспоминаю то поистине драгоценное время, когда черепок с золотой каемочкой был для меня драгоценен, как если бы настоящее золото.

* * *

Все наше село заросло мелкой густой шелковистой травкой, которую в народе зовут мурава. Словно плотной шерсткой, покрыта летняя земля этой травой. Только на тропинках возле домов, да еще на проезжей дороге вдоль села, да еще на тропинках от домов к колодцам невозможно расти мураве.

Она настолько чиста (мало разного движения, а значит, и пыли в селе), что в праздничный день, трезвые ли, подвыпившие ли, мужики и парни вольготно лежат на лужайках перед своими домами прямо в белых рубахах. Разве кто-нибудь неосторожно проползет или проволочется волоком, ну, тогда останется след на одежде, и то не от грязи след, а зеленый, оттого что при волочении содрали кожицу с нежной травки, она-то и обзеленила выходной наряд.

В будние дни в обед то и дело можно видеть на лужайках спящих людей: чего томиться в духоте да в мухоте! А здесь и ветерок обдувает и холодок в тени от телеги — благодать!

Эта травка цветет и обновляется все лето, но цве-

тет она такими мелкими белыми цветочками, что их не разглядишь, и поэтому, когда посмотришь вдоль села, ровная яркая зелень ласкает глаз.

Наступал день, когда перед каждым домом на яркую зелень мелкой плотной травки сваливали с телеги большие вороха золотой, душистой соломы, привозимой от колхозного молотильного сарая. То ли радостное волнение взрослых передавалось нам (ведь первая свежая солома — это значит первый обмолоченный сноп, первый хлеб нового урожая), то ли само по себе это было для нас интересно, но до сих пор сохранилось в душе ощущение праздника, ознаменованного тем, что на яркую зеленую траву валят золотую солому.

Ее не сразу убирали на двор, но до вечера она лежала перед домом и, значит, до вечера была в полном нашем распоряжении. Только что сброшенная с телеги, не слежавшаяся, она была рыхлая и податливая. Она была полна полевого хлебного духа. Но кто знает, может быть, именно так и должно пахнуть солнце?

Игра была всегда одна и та же. Мы проделывали в соломе длинные, замысловатые норы, которые вели к середине копны. В середине устраивалось просторное расширение, где можно было, потеснившись, лежать и вчетвером и впятером; что ж, мы ведь были очень маленькие! После полдневного июльского зноя так приятно зарыться в прохладную темную середину соломы!

Потом, к вечеру, свежей соломой устилали двор и постилали ее в хлев; таким образом, и у скотины, а именно у коровенки и у нескольких овец, тоже был праздник. А перед домом оставались только редкие золотые соломинки, запутавшиеся в зеленой травке. Тут ходили куры, ища, не завалился ли где-нибудь необмолотившийся, со спелым зерном колосок.

Это была первая, косвенная, встреча нас, ребятишек, с такой важной, такой великой колхозной работой, как уборка и молотьба хлеба.

Вторая, тоже косвенная, встреча состояла в том, что не всю солому привозили пропущенной сквозь

молотилку, но появлялось несколько тяжелых, плотных, туго стянутых соломенными поясками и оттого как бы стройных снопов. Они были обмолочены простейшим хлестанием их о деревянные козлы. Снопы мочили некоторое время в воде, пустив плавать в пруд, а потом развязывали, и из длинной, не переломанной нигде соломы скручивали нечто вроде толстых веревок, а именно пояски, дабы вязать ими новые и новые снопы.

Берешь две пряди соломы, составляешь их колосья к колосьям, один конец зажимаешь под мышку, другой конец начинаешь закручивать, заплетать; потом готовый конец зажимаешь под мышку и быстро расправляешься с оставшимся. Через минуту поясок готов. Взрослыми поощрялось, чтобы малыши скручивали пояски. Ничего, что пояски потом расползались и снопы, связанные такими поясками, наверное, рассыпались, шумя колосьями: пусть привыкают, думали взрослые, вся жизнь впереди, всю жизнь придется вязать пояски. Сказать бы им тогда, что не только их дети, но сами они лет через десять позабудут, что были когда-то пояски и что даже обыкновенный серп найти в селе будет невозможно, конечно, не поверили бы взрослые такой фантазии. Уходя на жнитво, бабы уносили с собой по огромной вязанке соломенных поясков.

Из снопов на ржаном ли, на пшеничном ли поле ставили крестцы. Клался на жнитье сноп, на него крестом, колосьями друг на друга, еще четыре снопа. Благодаря первому положенному снопу эти четыре снопа лежали несколько покато, шалашиком, что очень важно: в дождь вода будет скатываться по соломе, а не пропитывать колосяную, хлебную сердцевину. На четыре снопа клали еще четыре, потом еще четыре, и так пять слоев. В каждом крестце — двадцать один сноп, и считать не нужно. Покладешь на воз пять крестцов — значит, сто пять снопов, а в кругле — сотня.

Поля, уставленные крестцами, были самой непременной и, нужно сказать, красивой частью деревенского пейзажа в пору летней страды. Взглянув на та-

кое поле, сразу можно было сказать, хорош или плох урожай в этом году, потому что при хорошем урожае крестцы стояли густо, часто, обильно, а уж если разбрелись они по жнивью наредь, где крестец, — значит редка, тоща была ржица.

Когда на телегу накладывают сено, более сильный, более взрослый человек стоит с вилами на земле и подает сено из копны на воз. А подросток ли, женщина ли, девушка ли, стоя на возу, укладывает сено как нужно: пласт на правый угол, пласт на левый угол, пласт на середину для связи, — но когда возят снопы, взрослый сам становится на телегу, ибо укладывание снопов — дело особое. Снопы скользят друг по другу, и если что-нибудь чуть-чуть не так, то весь воз может расползтись или опрокинуться по дороге. К тому же косогорчики и овражки попадаются на пути. Уронишь воз сена — беды большой нет, укладывай снова и поезжай. Из снопов во время такой аварии высыпается, вымолачивается зерно. И без этого сколько раз нужно переложить сноп с места на место: с земли — в крестец, из крестца — на воз, с воза — в оденье или в сарай, из сарая или из оденья — к молотилке.

Кататься нам, малышам, на снопах было куда боязнее, чем на возу с сеном. Там сделаешь себе ямку — и сиди. А здесь все скатываешься, соскальзываешь, сползаешь от середины к краю воза, а воз раскачивается на колеях и кажется таким высоченным, что упади — и расшибешься насмерть. Но однажды как-то вдруг покачнулось небо и недальний еловый лесочек, и вот, не успев сообразить, что происходит, я очутился на бесформенной куче снопов, а снопы уж лежали на земле, а не на телеге.

— Эх, мать честная! — только и сказал отец.

Бывало, что, заметив, как воз ползет на сторону, мужик подопрет его плечом, да так до самой деревни и поддерживает — и, глядишь, сумеет довезти до места. Только жилы на шее возле ключиц и на лбу вздуются больше, чем обычно, да прилипнет к телу пыльная, выгоревшая на солнце рубаха.

Самая первая работа на молотьбе, до которой нас, превращающихся из ребятишек в подростков, допу-

скали (словно взрослых, наряжал с вечера бригадир), была работа гонять лошадей. Перед молотильным сараем находился так называемый привод: огромные чугунные шестерни и три бревна, отходящие от шестерен в разные стороны и немного вверх. Над шестернями клали деревянный щит, чаще всего старую воротину, а к концам бревен в привод впрягали лошадей. Чтобы у лошадей не кружилась голова от бесконечного хождения по кругу, на глаза им надевали кожаные квадратные шоры.

Погоняльщик с длинным кнутом садился на воротину и, стегая по очереди и понукая по очереди каждую лошадь, сидел на воротине целый день. Еще не было погоняльщика, который мог бы за день не охрипнуть, так что разговаривать ему потом приходилось шепотом. Наверно, в каждом колхозе был свой завсегдашний погоняльщик. У нас обычно ставили на эту работу Петяка, ибо глотка у него была поздоровее, чем у кого-нибудь другого.

— Но, Графчик! Ишь, она! Чего тут! Пальма, давай! Тяни, Разбойник! Уснули совсем! — только и слышно было на все село во время молотьбы.

Но весь колорит речи погоняльщика, а особенно Петяка, я передать не в силах, ибо к каждому обыкновенному и, так сказать, полезному слову он умудрялся прибавить десяток-другой слов, не совсем обыкновенных. Насколько они были полезны, то есть насколько действовали на лошадей сильнее всех других слов, сказать, конечно, трудно.

Когда совсем уж охрипнет Петяк, погоняльщиками ставили нас, мальчишек. Издалека казалось заманчивым попасть на такую должность: подумать только — целый день кататься на приводе! Но лошади слушались плохо, из сарая то и дело кричал машинист, понукая уж не лошадей, а погоняльщика, глотка начинала болеть. Кроме того, все время хотелось пить — постоянное кричание, жара и пыль от молотилки, — так что к концу дня, откричав шестнадцать-семнадцать часов, рад был избавиться от этой заманчивой должности. На другой день бригадир и без просьбы наряжал кого-нибудь дру-

го, зная, что и одним днем сыт погоняльщик по горло.

Среди прозрачнейших, беспыльных окрестностей молотильный сарай всегда был окружен облаком слегка светящейся на солнце пыли. Чем ближе к самой молотилке, тем пыли больше и она гуще. Некоторые женщины завязывали рты платком, оставляя одни глаза: без глаз никак нельзя около молотилки.

Центром всего был колхозный машинист Андрей Павлович. Единственный в селе заика, он был и единственным машинистом. Три человека подавали снопы ему на дощатый, отполированный снопами до невероятной гладкости стол. Снопы из рук в руки передавались по столу, и один человек или даже двое серпами разрезали у снопов пояски.

Не отрывая глаз от урчащей пасти молотилки, экономным, красивым движением Андрей Павлович брал сноп и мгновенно и как-то незаметно разжижал, разреживал его на доске, наклоненной к барабану. Барабан гудел ненасытно и жутковато. Не различить было ни железных, высветленных соломой планок, ни тем более частых кривых зубьев на этих планках. Некая серая прозрачность — сгусток ветра — виделась там, где положено быть барабану. Для того и нужно было погонять лошадей, чтобы барабан крутился равномерно, а не рывками. А уж от машиниста зависело равномерными порциями постоянно совать в барабан снопы. Вот крутится барабан вхолостую, воя на все более и более высокой ноте, и вдруг сухой треск, этакое сытое хрустение, и из противоположного конца молотилки вываливается бесформенная копна соломы, только сейчас бывшая стройным, ровным снопом. Эту солому поддевают на вилы, передают друг другу, потряхивая при этом, чтобы из нее высыпалось зерно, коли оно осталось там, и так, передавая с вил на вилы, препровождают вдоль всего сарая к воротам и дальше, на телегу. Так-то она и попадает в конце концов на зеленую лужайку перед домом колхозника.

На пути движения соломы по сараю, а главным образом под брюхом молотилки копится перемешан-

ное с мякиной зерно. Его время от времени выгребают и граблями отодвигают в сторону к стене, где все растет и растет гора зерна, называемая ворохом.

Спокойно стоит у молотилки Андрей Павлович. Сам он весь немного откинулся назад (стреляет из молотилки с жесткостью свинцовой дроби зерно), но глаза у него всегда смотрят только в барабан.

Удивительно радостное охватывает чувство, когда молотьба войдет в ритм и все пятнадцать человек, занятых на молотьбе, станут как бы одно, и незаметно летит время, только мелькают снопы, только равномерно хрустит в молотилке солома. Я любил становиться на разрезание снопов перед самым Андреем Павловичем и, чтобы погорячее работать, резал один, а не с кем-нибудь вдвоем. Кроме того, я придумал для этого обламывать серп почти наполовину, и этот короткий огрызок серпа был очень беспощаден в работе. Войдешь в ритм или, лучше сказать, в колею работы — и режешь и режешь одним и тем же экономным движением тугие соломенные пояски, и хотя едва успеваешь делать эту работу, молодое тело, разогревшиеся мышцы хотят, просят, чтобы еще быстрее крутилась машина, чтобы еще чаще мелькали снопы, чтобы еще дружнее шла вся работа.

— Д-давай, д-давай! — кричит Андрей Павлович, и погоняльщик за толстой бревенчатой стеной сарая слышит эти окрики. Или иногда замешкается подавальщик снопов, и руки Андрея Павловича, потянувшись за снопом, скользнут по гладким доскам стола. Недоуменно, как бы не понимая, в чем дело, взглянет он тогда на подавальщика.

— Д-давай, к-какого вы т-там еще... М-молодежь!

А то вдруг, пропустив сноп, придержит левой рукой другие, напирающие на него снопы и протяжно скомандует:

— С-стой! Залога!

Налаженно работающий своеобразный конвейер: эти подавальщики снопов, эти соломотрясы, эти разделыватели вороха, эти возчики соломы — всего человек пятнадцать или двадцать, — все это разом

останавливается, и вселенская тишина мгновенно заливает голубоватой полдневной волной крохотный пыльный островок гудения, треска и грохота.

Залогой называется не время отдыха, а, напротив, период работы. И если Андрей Павлович крикнул «залога» — значит, кончилась залога, и теперь наступил перерыв.

Молотильщики выходят из сарая на волю, просмаркиваются, прокашливаются, пьют воду, едят кислые, недоспелые яблочки, располагаются в холодке. Мужики сворачивают прямые толстые цигарки из свежего самосада, дым которого остро и крепко пахнет жженым копытом. Лошадям дают овса, повесив на лошадиные морды торбы из мешковины. Под крышей сарая, на снопах (сарай доверху набит снопами), нет-нет и послышатся девичий визг и хихиканье. Наверно, Митюшка Бакланихин забрался к отдыхающим девушкам да и щекочет теперь какую-нибудь из них.

Залога бывает только на молотьбе, а на других работах — мечут ли стога, убирают ли сено, копают ли картошку — перекур и есть перекур, а никаких залог нету. Вообще же все колхозные летние работы в нашем селе велись в три уповодка. Первый уповодок — с четырех часов утра до восьми (с восьми до девяти завтрак), второй уповодок — с девяти до часу дня (с часу до четырех обед); третий уповодок — с четырех до десяти вечера, то есть до тех пор, пока не начнет темнеть.

Длина перекура на молотьбе зависела тоже от машиниста, от Андрея Павловича. Ни бригадир, ни сам председатель никогда не вмешивались в его дела. Бывали такие перекуры, что лежишь-лежишь в холодке, глядишь, уж и слюнка выльется на подложенную под щеку ладонь и сладкий туман успеет распространиться по всему телу. Но тут послышится властный оклик: «Д-давай!» — вслед за которым начнет энергично кричать погоняльщик; снова раскрутится светлый барабан с кривыми светлыми зубьями.

Валька Грубов однажды глядел-глядел сверху, со снопов, в ветряное горло молотилки и вдруг говорит:

— А что, если бы туда железяку сунуть, шкворень или подкову, а?.. Вот бы интересно было! Спрятать ее поглубже в какой-нибудь сноп...

Мы тут же и забыли, про что говорил Валька Грубов. Но через два дня, в самый разгар молотьбы, вдруг раздался громкий, похожий на выстрел удар, и кто-то молотками начал стучать изнутри по обшивке молотилки, пытаясь вырваться на свободу, разрушить, разорвать стены своей тюрьмы. Одновременно раздались скрежетание, визг, что-то со свистом полетело из молотилки, люди попадали на землю, а Андрей Павлович закричал не своим голосом:

— Стой!

Когда остановился привод, а потом и тяжелый, сильно раскрутившийся маховик, а потом и барабан проступил из серой, неразборчивой прозрачности, все сбежались к молотилке. Андрей Павлович стоял бледный (сквозь черную пыль проступила бледность на его лице), правая рука опущена, как плеть. Она оканчивалась уж не пятью обыкновенными его, желтыми от махорки пальцами, а некой красной мочалкой, с которой на глянцевитую утоптанность земляного пола струйкой стекала кровь. Хорошо еще, что вскользь ударили острые зубья!

Андрей Павлович, должно быть, увидел все-таки, как что-то сверкнуло в снопе, и хотел схватить вовремя, но это было движение непроизвольное, непроконтролированное разумом...

У барабана оказались погнутыми многие планки, выбиты многие зубья. Подкову саму тоже исковеркало и измяло. Молотьба остановилась надолго.

...А однажды, не помню, в котором году, колхозу дали распоряжение: в молотильный сарай снопов не возить, ставить оденья на полях. Приедет «сложка», то есть, значит, сложная машина, и все обмолотит сама. Когда пришло время, трактор к оденью действительно притащил некое длинное высокое сооружение с множеством больших и маленьких колесиков и ремней, соединяющих эти колесики. Все село пришло посмотреть на диковинку.

Машинист (не Андрей Павлович, хотя у него зажила рука, а другой, приезжий, эмтээсовский машинист) расставил людей, рассказал, кому что делать. Затарахтел трактор, все колесики завертелись, ремни забегали, и «сложка» загремела, заработала. Два человека вилами едва успевали бросать пшеницу в ее ненасытную пасть, и не нужно было ни разделывать ворох, ни трясти солому, ни веять, а только подставлять да завязывать мешки. То, что маленькой красной молотилке нашего села хватило бы на неделю, было проглочено «сложкой» за один день.

А теперь уж и «сложек» не видно на полях вокруг села. Ни этих серпов, ни поясков из соломы, ни крестцов, по двадцать одному снопу в крестце, ни этих укладываний снопов на телегу, ни этих приводов, вращаемых лошадьми... Просто выходят на поля комбайны (их пять в нашем колхозе) и за несколько дней делают все то, что называлось непридуманным, но где-то в глубине России, в глубине народа рожденным словом «страда».

Около иных сараев и до сих пор еще, полузатянутые землею, виднеются большие шестерни. Теперешние мальчишки, поди уж, и не знают, для чего были нужны эти шестерни, и как это погоняли лошадей, и как это все происходило. Хотя времени прошло не век, не два, а каких-нибудь двадцать лет.

Что же касается как бы традиционной золотой соломы, появлявшейся перед домом на зеленой лужайке, в которой можно было делать норы и там играть, так ведь что в ней, в этой соломе?!

Хотя в нашем селе и всего тридцать шесть домов, или, лучше сказать, хозяйств, однако до войны шестьдесят, а то и семьдесят косцов выходили в колхозные луга. По селу и луга наши необширны. Тут все в масштабе: маленькое село, маленькая речка, маленькие покосы по ее берегам.

Трава тоже родилась невесть какая. К весне первыми начинали вылезать из земли ярко-красные листочки щавеля. Через день-два они подрастали

и становились зелеными. Тут мы выбегали в луга пастись на подножный корм.

Летом щавель выгоняло в стебель, в те самые «столбецы» с розовой метелкой, которые тоже можно рвать и есть, если не успели они застареть и задеревенеть, так что жуешь-жуешь, а во рту копится вроде зеленой мочалки. Молодой столбец сочен и нежен, он легко напрочь переламывается в любом месте.

Впрочем, нужно сказать, что, несмотря на естественное в детстве стремление есть все, что попадется под руку или под ногу, мы ели очень мало разных трав. Потом, будучи взрослым, я прочитал книжку Верзилина о съедобности диких растений, и оказалось, что мы бегали босиком сплошь по разным салатам, да напиткам, да и чуть ли даже не по сдобным лепешкам. Во всяком случае, того, что из корневища обыкновенного горького лопуха можно печь хлебы или даже можно есть его, это корневище, вместо моркови, мы не знали.

После щавеля и столбецов наибольшей популярностью у нас пользовалась «солдатская еда». Яркожелтые, похожие на одуванчик, но на высоком ветвистом стебле, цветы были видны издалека и сильно облегчали нашу задачу поисков «солдатской еды». Из стебля, когда сорвешь, обильно бежало, почти брызгало густое сладкое молоко.

Какое-то крупное зонтичное растение, то ли морковник, то ли дягиль, обильно росло там, где луга запутывались в прибрежном речном кустарнике, где после лугового солнца сразу делалось темновато и влажно. С толстого стебля нужно было сдирать толстую, жесткую кожу, которая сдиралась очень легко. Мягкая, ободранная серединка была сочная, сладкая и душистая.

Недавно обо всех этих травах я разговорился с женой, выросшей в орловской деревне. То ли деревня была беднее нашей, то ли вообще повыше там стояла культура по освоению дикорастущих, но жена распахнула передо мной такие горизонты, что я пожалел даже, что ничего этого мы не знали в детстве. Названия большинства растений установить не уда-

лось. Так, например, она настойчиво рассказывала про какие-то лепешечки, довольно безвкусные, но которые тем не менее пожирались будто бы горстями, а также про некие нюньки, вылавливаемые из воды во время весеннего половодья. Стебельки мать-и-мачехи, этого раннего подснежника, а также молодые, нежные стебельки аниса я, по ее совету, попробовал, но, наверное, и тогда, в детстве, они не понравились бы мне: очень уж приторно пахучи. Трубочки одуванчиков с ободранной кожицей все-таки неприятно горьки, а молоденькие листья липы, наоборот, пресноваты.

Но что оказалось действительно вкусным и о чем действительно можно пожалеть, что не знали тогда, в детстве, — это сурепка. Горьковатая, пряная, отдающая слегка хреном, она и теперь нам так понравилась, что мы съели ее по пучку. Жена, вспоминая детство, а я как бы наверстывая упущенное.

Взрослые не очень-то разрешали нам объедаться зеленью. Острастка была такая: «Смотри, будешь есть разную дрянь, червяки в животе заведутся!» Но теперь я думаю, что наш подножный корм был, особенно в период весны и раннего лета, стихийным источником, откуда поступали хоть какие-нибудь витамины в наши детские, растущие организмишки.

К середине июня ярко и пышно расцветали луга. Нежно-розовые махровые шапки, синие колокольчики, ясно-желтые купальницы (мы называли их лазоревым цветом), малиновые звездочки гвоздичек, да лиловые, да фиолетовые, да бурые, да еще и просто белые цветы...

Над яркоцветущими, перерастя их, поднимаются разные колоски и метелки, отчего издали кажется, будто подернуты цветущие луга легким сиреневым туманом. В безветрие каждый колосок, каждая метелка, каждая дикая злачинка, если щелкнуть по ней пальцем или если заденет за нее кузнечик, пчела, шмель или бабочка, тотчас окутываются маленьким желтоватым облачком — цветут привольные травы.

Улетит на закате солнца с цветка тяжелый шмель, и цветок качнется облегченно и раз, и два, и три, но

отяжеляют его светлые капли росы, и, покорно поддавшись их тяжести, будет он неподвижно дремать до утра, блаженствуя в росной прохладе.

В отлогих, почти горизонтальных лучах утреннего солнца загораются капли росы. Если сказать, что в каждой капле горит по солнцу, значит ничего не сказать о сверкании росного утра. Можно, конечно, с тщательностью выписать, как одни капли мерцают глубокой зеленью, другие — чисто кровавого цвета, третьи — матово светятся изнутри, четвертые — молочно-голубые, пятые — белые, как молоко, но просвеченные огненной искоркой. Можно написать, как это разноцветное горение сочетается с синевой, желтизной, розовостью, лиловостью и белизной луговых цветов и как луговые цветы, просвеченные солнцем, кидают свои цветные тени, свою синеву или желтизну на ближайшие капельки хрустальной влаги и заставляют их быть то синими, то желтыми. Можно рассказать, как в сложенных в сборчатую горстку, слегка мохнатых, шершавых листиках травы накапливается роса и покоится в них, светлая и холодная, огромными округлыми упругими каплями так, что даже можно выпить и ощутить вкус росы, вкус земной живительной свежести. Можно написать, какой яркий темный след остается, если пройти по седому росному лугу, и как красив осыпанный росой в лучах солнца обыкновенный хвощ, и многое, многое другое. Но нельзя передать на словах того состояния души и тела, которое охватывает человека, когда он ранним утром идет по росистому цветущему лугу. Может быть, даже он не обращает внимания на такие подробности, как синяя или розовая роса, или на то, как в крохотной росинке четко виднеются еще более крохотные, отраженные ромашки, выросшие по соседству, но общее состояние в природе, общее настроение тотчас сообщается человеку, и вот передать его невозможно.

Вы проснетесь позже, часов в девять, десять, когда в поля и луга нахлынет зной и все высушит и все погасит, и вы будете думать, что таким всегда и бывает окружающий вас мир, не подозревая о том, что

еще три-четыре часа назад он был настолько другим, насколько, например, цветущий куст сирени или вишенья отличается от нецветущего. Ведь тому, кто никогда не видел цветения вишневого сада, невозможно, глядя на голые кусты, вообразить, как бывает в цветущем вишневом саду.

Травы скашивают рано утром, пока они еще не уронили росы, пока они еще нежатся в ее прохладе, под ее дремотной сладкой тяжестью.

Накануне, когда начнут затихать в селе дневные звуки, вдруг то там, то тут звонко затюкают по стальным наковаленкам остроносые молоточки. Где-нибудь в саду под яблоней пристроится колхозник, чтобы отбить косу. Сам он сидит на стуле, перед ним чурак с намертво вколоченной в него квадратной наковаленкой, на которую и кладется лезвие косы. Тут же ведерко с водой — окунать в него молоток. Умело и чуть наискось бьет молоток по самому жалу косы и расклепывает, «оттягивает» его, делая острым, как бритва, а может, и острее бритвы.

«Тюк-тюк-тюк... Тюк-тюк-тюк... — слышится то в саду у Володи Постнова, то у Пеньковых под ветлой, то на задах, у Ивана Васильевича Кунина. — Тюк-тюк-тюк!..» Завтра в серых, туманных сумерках, до свету, цепочкой уйдут косцы в луга и, вздрогнув и осыпав с себя росу, упадут красивые травы.

Покос — самая трудная, самая сдружающая работа из всех деревенских работ. И председатель колхоза, и бригадиры, и завхоз, и счетовод, и школьный учитель Виктор Михайлович, и кузнец, и ветеринар, то есть все люди, которых не увидишь на какой-нибудь другой работе, — все выходят в луга и становятся рядовыми косцами.

До войны в нашем колхозе был обычай: около шести часов утра косцам в луга носили завтрак. А так как жены косцов, то есть наши матери, заняты в это время стряпней, а вторая женщина — сноха ли, дочь ли — найдется не в каждом доме, то завтрак носили дети и подростки.

Самое тяжелое — встать, отделить хотя бы на сантиметрик голову от подушки и хотя бы чуть-чуть

приоткрыть глаза, склеенные самым надежным клеем.

Ты еще вроде бы спишь, когда дадут тебе в руки узелок, сделанный из платка. Узелки у всех одинаковой формы: внизу стоит тарелка, она прорисовывается через платок и придает форму узелку. На тарелке, надо полагать, лежит стопка блинов, потому что если ношение завтрака косцам было крепкой традицией, то уж совсем железной традицией были блины на этот завтрак.

Как только выйдешь из душноватой избы на волю, сразу дрогнет в груди светлая радость — неизъяснимая свежесть разлита по всей земле в это время. Село пустое. Лишь кое-где такие же, как ты, выходят на крыльцо люди. Вот все собрались в одном месте, на скамейке возле Ефимова двора. Тут выясняется, что никто путем не знает, куда ушли косцы, то ли на Попов луг, то ли в Капустный овраг, а то ли решили начинать с Подувалья. Большинство сходится на том, что нужно идти к мосту, скорее всего там мужики.

Село стоит на высоком большом увале. С одной стороны подъезжаешь к нему по ровному месту, а на три другие стороны открываются из села близкие и далекие окрестности, расположенные внизу, гораздо ниже села. По самой низинке петляет река Ворша, а по берегам Ворши и цветут луга.

Как только, растянувшись в длинную вереницу, выходили мы к Пенькову сараю, как только открывалось нам с высоты холма воршинское замысловатое петляние, так сразу и показывались маленькие от расстояния косцы. Широкой цепочкой рассыпались они по лугу, и, где идут, луг сразу становится темным, как и та половина луга, которую они успели скосить за сегодняшнее утро. Издали стараемся угадывать косцов: где мой отец, где отец Вальки Грубова, где кто. Но пока что никого не угадаешь. Крохотные фигурки косцов одна за другой дергаются, как будто невидимая рука перебирает лады у гармони.

Чем ниже спускаемся мы с холма, тем сильнее пахнет туманом и рекой, а когда ступаем на луг,

охватывает запах скошенной, но еще сырой, еще не охваченной хотя бы самым первым увяданием травы. Густые, тяжелые валки лежат рядами, образуя прокосы. Вот валок потощее, пожиже других, и прокос рядом с ним узенький. Да и выкошено нечисто. На конце взмаха кверху лезла коса, оставляя высокую щетку. Там торчит клок травы да там клок: не иначе, семенил здесь с косой неказистый мужичок Иван Грыбов. Он ведь любит, чтоб полегче да поменьше.

Зато рядом прокос — два Ивана Грыбова. Ровно, беспощадно срезана трава. Широко, отлогим полукружием ходила коса. Плавно, но и быстро водил ею высокий сутуловатый Иван Васильевич Кунин.

В каждой крестьянской работе должен быть свой талант. Но нигде так ярко он не проявляется, как на косьбе, потому что здесь все становятся в ряд, друг за дружкой, и сразу видно, кто на что способен. Каждая деревня знает своих лучших косцов, и сами они знают, что они лучшие косцы, и втайне гордятся этим.

У каждого из нас, ребятишек, несущих завтрак, работает на лугу отец ли, старший ли брат, и каждый из нас хочет, чтобы именно у его отца был самый широкий, самый чистый прокос, чтобы именно он, а не кто-нибудь другой шел впереди и вел всю растянувшуюся цепочку.

Косцы радовались, увидев нас, спускающихся с холма. Впрочем, никто из них не бросал прокоса на середине, но, дойдя до конца, пучком мокрой травы вытирал косу, а если прокос привел к реке, то и окунал косу в сонную воду. Омоется с косы прилипшая к ней травяная мелочь, и, когда вскинет косец ее на плечо, будут стекать с острого носка светлые речные капли.

Подложив под себя свежекошеной травы, косцы рассядутся завтракать, но не очень кучно, не очень близко друг к другу: с одной стороны, чтобы далеко не идти, а с другой стороны, боязно: вдруг у соседа блины окажутся белее наших! Однако такая рассредоточенность косцов не мешает перекидываться шут-

ками. Например, тот же Иван Грыбов обязательно крикнет, хотя бы и мне, сидящему возле отца:

— Вова, а Вова, не осталось ли у вас там крутых яичек, а то соль доесть не с чем!

Покойный Иван Федорович, тот, бывало, обязательно достанет из кармана сложенную во много раз газету, распрямит, разгладит ее на коленке, и тут уж возможно, что поближе пододвинутся мужики, соберутся в кружок.

А в газете фотография, как взрываются бомбы среди чудных, похожих на большие копны сена абиссинских хижин и как черные полуголые женщины с черненькими ребятишками убегают в пальмовый лес.

— Мерзавцы! — выругается в сердцах кто-нибудь из косцов. — Нету на них управы!

И невозможно пока еще было предположить, что именно его, сидящего теперь посреди мирного луга, олепинского мужика, будут ждать неведомые народы как единственно реальную управу на распоясавшихся, взбесившихся фашистов.

Позавтракав, косцы закуривают и курят долго и прочувствованно. Махорочный дым зыбко плавает, не поднимаясь кверху и не рассеиваясь. Мы собираем узелки, и, когда уходим, вслед нам начинают звонко вжикать бруски.

Непременно (так уж заведено) каждый косец оставит и блинов, и яичко, и молочка в поллитровой бутылке. Отойдя шагов двести-триста, мы рассаживаемся в кружок, и у нас начинается свой завтрак.

Все необыкновенно для нас в мире в эти ранние часы, в которые мы всегда спим, а сегодня оказались на лугу, возле реки. К воде подойдешь, она тихая, еще не проснулась, темная, таинственная. Желтые кувшинки замерли и теперь, утром, горят ярче, чем даже в солнечный полдень.

Хоть мы и одеты по-утреннему: в пальтишках, в кожаных сапогах и фуражках, — хоть еще и не пригревает солнце и зябко будет, если раздеться, все же решаемся купаться. А сами разговариваем впол-

голоса, как разговаривают возле спящего человека, как будто река и правда спит. Сумела что-то такое внушить река, что не слышно ни смеха, ни громкого разговора.

Разделся, так надо прыгать, не целый день стоять голышом на берегу! Кто-нибудь потрогает рукой воду и вскрикнет от неожиданности: «Парное молоко!» И ты знаешь, что теплой покажется вода, но все равно она неожиданно, чрезмерно тепла по сравнению с прохладным воздухом утра. И все равно, как ни готов к этому, воскликнешь удивленно: «Ой, братцы, парное молоко!»

Когда прыгнешь в воду и немного очувствуешься, ждет новая неожиданность. Оказывается, вода не так уж тепла, она сильно, крепко сжимает и освежает тело, а на берегу ожгет его, мокрое, утренним холодком.

Может быть, раза два или три мне пришлось искупаться в детстве ранним утром, но купания эти запомнились на всю жизнь, и благодаря этим благодатным случаям я и до сих пор не променяю никакого другого купания на купание именно ранним утром и именно в нашей речке.

Красиво издали глядеть на людей, которые косят! Хорошо любоваться и вблизи на умелого, ладного косца! Эти равномерные, экономные взмахи косой, это ритмическое разворачивание плеч, когда коса отводится назад, замахивается медленно, словно пружина сжимается при этом, которая потом стремительно, резко толкнет косу в обратную сторону, а косец припадет на правую ногу и на правый бок, да еще и выдохнет вслух: «Х-ха!»

Рубаха на груди распахнута, лицо и шея запотели, и отблески зари лежат на лице: хоть сейчас пиши картину, хоть сейчас читай вслух знаменитые строки:

Развернись, плечо!
Раззудись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!

Но вот что странно. Как только сам возьмешь косу и станешь в ряд, тотчас куда-то пропадают и

окрестности, и облака, и даже стихи про то, чтобы рука как следует раззуделась. Весь мир сужается, в нем остается желтое деревянное окосье, кривое синеватое лезвие косы, по желобку которого, смывая травяную мелочь, бежит роса, небольшой участочек (на полшага вперед) стоящей травы, которую предстоит срезать, да еще время от времени серый брусок, скользящий по нежному жалу то с той, то с другой стороны. А если и вскинешь голову и оглянешься по сторонам или посмотришь туда, где должен оканчиваться прокос, то, как назло, именно в этот момент затечет в глаза струйка горячего пота, и застит белый свет, и защиплет глаза так, что какие уж тут облака и окрестности!

— Так-так! — говорили мужики в то памятное утро. — Значит, подросла молодежь, оперилась. Это хорошо! Ты, Юрий, становись за своим отцом, ты, Валентин, за Иван Михайловичем Пеньковым, а ты, Володимир, за Сергей Васильевичем. А сзади тебя пойдет Андрей Павлович. По-шли!

Неторопко, словно бы бережно провел косой Иван Васильевич Кунин, и первые крайние к тропинке цветы бросились в ноги великану с беспощадным инструментом в руках, аккуратным рядком легли на землю. Когда он вкосился шагов на восемь, следующий пошел косец, а там другой, третий. Вот и Юрка — детина выше всех нас на целую голову — ссутулился немного, пошел, пошел тянуться за мужиками. Хорошо помню, как сделал первые несколько шагов и я. Там, где мне пришлось начинать, густо росли розовые махровые цветы на высоких стеблях, которые режутся очень легко и которые, как я выяснил лет двадцать спустя, называются горлец или раковые шейки.

Первые несколько шагов я следил, как подкашиваются и падают эти цветы. Но скоро пришлось сосредоточить свое внимание на сапогах Сергея Васильевича Бакланихина, а точнее, на задниках его сапог. Коротенькими шажками он переступал по ровной зеленой щетке, но в этих коротеньких шажках была для меня такая стремительность, что все

мои усилия свелись к тому, чтобы сапоги Сергея Васильевича не ушагали слишком далеко, тем более, что сзади все громче становилось, с громким выдохом, почти кряхтением, дыхание Андрея Павловича. Я чувствовал, что весь я как-то неудобно перекошен, что трудно дышать, правый бок стало ломить и не было рук, чтобы вытереть пот со лба и глаз. Становилось очевидным, что до конца прокоса мне не дотянуть, что больше в таком неестественном, перекошенном состоянии я быть не способен. Но тут сзади я услышал шарканье бруска и тоже остановился, чтобы наточить косу. О, распрямиться! Вздохнуть глубоко и медленно, чтобы расправились все мышцы и не щипало глаза — одно это было блаженством! Но коса наточена, брусок снова засунут за голенище, надо идти дальше.

Пожалуй, ничего больше и не осталось в памяти от того самого первого утра. Запомнилось еще, что мужики не насмешничали над нами, а были серьезны, терпеливы и, я бы сказал, доброжелательны. Они хорошо знали, что косьба есть самая тяжелая физическая работа из всех крестьянских работ.

Около десяти часов утра, когда высоко поднимется и обсушит росу солнце, в луга пойдут женщины. Они пойдут, вооружившись деревянными вилами-двоешками и граблями, и не станут растягиваться в длинную вереницу, а кучно, яркой ситцевой стаей, спустятся с холма, и, глядя на них со стороны, почувствуешь: чего-то без них недоставало этому летнему пейзажу. А то еще и песню запоют, и далеко-далеко ее слышно по Ворше.

Придя на луг, они не выстроятся в цепочку, как косцы, а рассыплются по зелени луга яркими, сочными, то синими, то красными, то желтыми, то белыми мазками и почнут разбивать валки, разбрасывать траву тонким ровным слоем.

Жаркое солнце ошпарит свежую траву, и трава приувянет, охваченная жаром, а над лугами поплывет тот хрестоматийный, тот классический, тот единственный аромат молодого сена.

Где-нибудь возле межи или канавы в вянущей

траве много попадается розовой полевой клубники. Если еще и не покраснела ягода, а успела всего лишь налиться, да сделаться белой, и лишь слегка порозоветь, то и тогда она мягка, и сладка, и душиста. Бабам не нужен перекур. Вместо этого они выбирают клубнику из сена и едят ее.

Постепенно на лугу начнут появляться копны. Сено в них сухое до хруста. Про него говорят: «Хоть сейчас заваривай заместо чаю!»

После обеда выспавшиеся косцы приедут в луга на телегах, чтобы возить сено в село, в приготовленные для него сараи. Тогда на лугу начинается большое оживление.

Сильная жара, которая всегда стоит в сенокосную пору, близость реки, ну и, конечно, молодость породили обычаи, что парни в свободную минуту не обойдутся, чтобы не побежать за девушками по лугу, а догнав, не утащить жертву к воде и не искупать ее прямо в платьишке. Бывает, что и парня огрудят восемь или десять здоровых, молодых, жарких девушек, и тогда уж быть и ему купану. В игру вступают женщины из тех, что помоложе и побойчее, за парня заступятся другие парни, и пойдет свалка, чистая куча мала, которая каким-то образом все передвигается да передвигается к воде, пока, наконец, все вместе не скатятся с крутого бережка.

Помню, как тащили бабы в реку здоровенного брата моего Виктора, который теперь, не очень давно, разбился вместе со своим самолетом. Позволил он дотащить себя до самой воды, потом, как встал, как развел руками, словно горох посыпались от него повисшие было бабы. Смех, брызги! Пока он смеялся над бедой своих супротивниц, Вера Балдова прямо из воды (нечего терять!), изловчившись, схватила Виктора за ногу да и сдернула в омут.

Кто знает, может, в последнюю долю смертельного мгновения, когда падала на него, чтобы раздавить вдребезги, заснеженная пустынная земля, в числе других, лихорадочно скачущих перед глазами картин мелькнул и теплый омут в кувшинках, и доброе, мягкое сено, и смех, и брызги, и цепкие бабьи руки,

охватившие могучее тело его и справа, и слева, и спереди, и сзади, и даже, вот поди же ты, за ноги!..

Последний раз участвовать в покосе мне привелось лет пять или шесть назад. Я приехал на побывку в село, а был разгар сенокоса. С вечера я и не думал идти косить, а собирался на рыбалку, но застучали по наковаленкам молоточками, и какая-то волна подмыла, разбудоражила, подумалось: почему бы и не сходить? Правда, если идти, надо быть готовым к тому, что ежели сорвешься, то не жди уж бережности от мужиков, как тогда, в первый раз. Сейчас ты для них городской, отрезанный ломоть, и любая оплошка с твоей стороны тотчас станет желанной мишенью. По крайней мере так думал я.

Вечернее время было упущено, а ко́сы в нашем собственном хозяйстве не оказалось: давно некому было косить.

— Да возьми ты косу у Иван Васильевича Кунина! — посоветовал мне сосед. — Он теперь престарелый, сам не ходит, а коса у него, сам знаешь, первая была коса.

— Неловко будить его завтра, а теперь тоже, наверное, спит.

— Что ты, он завтра, как идти нам на покос, обязательно будет сидеть перед домом на лавочке! Привычка за семьдесят лет. Посмотрит, как пошли с косами мужики, и опять спать. Так что ты не теряй момента.

Проснувшись по звонку, я вышел, плеснул на лицо горсть воды, выпил горшок красной, томленой простокваши и вышел на волю. В сумерках, как все равно на дне глубокой зеленоватой воды, спало село.

И точно, еще издали, еще от церковной ограды увидел я огонек цигарки возле Кунина дома. Я поздоровался с Иваном Васильевичем и сел рядом. Иван Васильевич действительно постарел. Некогда высокое и сутуловатое тело его согнулось еще больше, да и сидел он теперь по-мужицки, облокотившись на колени.

— Что, — сквозь кашель от махорочного дыма спросил старик, — воздухом дышишь? Дыши, он для

вас, городских, полезный. Я ведь знаю, очень вы любите воздухом дышать.

— Решил вот сходить с мужиками на покос.

Иван Васильевич насторожился, как старый конь, услышавший звон бадьи, в которой всегда ему задавали овес.

— Я, чай, коса-то у тебя в порядке, отбитая, дал бы мне покосить. Я ведь одну только росу. Охотку сшибить. А уж завтра и на рыбалку.

— Да... Косе как не быть. Без косы рази можно? Свои-то повывелись, что ли?

— Все повывелись.

— То-то! А ведь у Лексея Лексеича, бывало, четыре косы было. Одна — большая, двенадцатирушная, вроде моей, а то одна поменее, помнится, ты ею и кашивал. Да Виктора коса, да Констянкина. А вот у Николая, не помню, была ли своя коса... Как же, ведь я все косы в селе знаю! Хороши были косы, огонь!

— Вот и дал бы мне. Хочется покосить утречко.

— Да... Значит, вроде моя коса будет косить, а сам я в это время спать. А ты почем знаешь, что сам-то я не пойду? По-твоему, зачем я встал такую рань? Может, я и встал, чтобы на покос идти.

Было ясно, что старик шутит и куражится слегка, поэтому я повел дело прямо.

— Что ж, Иван Васильевич, старый старится, молодой растет: всему свое время. Я помню, как ты кашивал да впереди всего села ходил, картина!

— То-то, что помнишь, а я разве забыл? А теперь, видно, уж отмахался!

— Да, видно, всему свое время, что ж и жалеть? Дал бы мне косу-то. В обед принесу.

Иван Васильевич пошел в избу. Было слышно, как он прошел в потемках сенями и скрипнул дверью из сеней на двор. Вскоре он появился с двумя косами.

— На, вот тебе коса, смотри не сломай, поаккуратней!

— А вторая зачем, на выбор?

— Этой я сам буду косить. Разбередил ты меня, паря. Может, последний разочек...

Он говорил, отведя глаза в сторону, смущаясь своей слабости, не стариковской физической слабости, а той, что вот, как дите, не утерпел, решил побаловаться. Словно что-то несерьезное было в том, что он решил идти на покос. Мне бы надо уговорить его остаться, но я не решился уговаривать, хорошо поняв его порыв, и стоял, тоже смутившись.

— Ну, пошли, чего стоим, а то уйдут, не догоним!

Привычным движением Иван Васильевич вскинул косу к себе на плечо.

Косцы не удивились, когда увидели Ивана Васильевича, ну, что ли, в своих рядах.

— Глядите, глядите, кто сегодня вышел!

— Берегись, трава!

— Тяжеленько будет, кости-то старые, скрипят небось, как немазаны!

— Ничего, старый конь борозды не испортит!

Все это было сказано еще в селе, когда мы подошли к мужикам, а потом до луга шли молча.

Не шестьдесят, не семьдесят кос, как некогда, до войны, посверкивало, отражая побелевшее рассветное небо, а всего-то шло нас одиннадцать человек, да еще двенадцатым шел бригадир с деревянной двухметровой меркой.

Ивана Васильевича хотели поставить впереди, по старой привычке, тем более, что и остальные косцы, кроме меня, были немногим помоложе Ивана Васильевича. Но он решительно отказался идти вперед и встал сзади.

Народу осталось мало, а трава, как нарочно, уродилась невпрокос. Такая трава, что, с одной стороны, косить ее — одно удовольствие, когда стоит она стеной и режется плотно и сочно, но, с другой стороны, и силенок она требует куда как больше, чем реденькая, невзрачная травишка.

Мы поторговались немного с Иваном Васильевичем, кому идти самым задним: ему или мне, — и он уговорил меня идти вперед. Некоторое время я косил увлеченно, забыв про все, но вскоре услышал, как старик шаркает косой по самым моим пяткам.

— Могу! Могу! — раздалось сзади сначала негромкое причитание. — Могу! Пошел! Коси! Живей! Не мешкай! — закричал Иван Васильевич уже громко. — Зарежу!

Я прибавил шагу, но, поняв, что не уйти, решил пропустить разошедшегося старика вперед. Он встал на мой прокос, благо прокос был не узок, и вскоре, как и меня, смял еще одного косца, который тоже пропустил его, и вот Иван Васильевич настиг третьего.

Он остановился, тяжело дыша, рот его был открыт, но глаза старика горели живо и радостно. Схватив горсть травы, старик вытер ею мокрое, налившееся кровью лицо, и травяная мелочь прилипла к морщинистой стариковской коже, и стало не понять, отчего так мокры щеки: от пота, от росы или от слез совершившейся радости.

— Могу! — всхлипнул вслух старик и расслабленно опустился на землю. Он снова брал траву, и снова размазывал ею слезы по лицу, и все всхлипывал время от времени.

Когда снова начали косить, Иван Васильевич опять пропустил меня вперед.

— Ты иди... Иди... Не бойся. Я теперь тихонечко, по-стариковски... Помахал, и будет... Кости мои немазаны...

Я шел впереди и думал: что же такое таится в ней, в извечной работе земледельца, что и самая тяжелая она и не самая-самая благодарная, но вот привораживает к себе человека так, что, и на ладан дыша, берет он ту самую косу, которой кашивал в молодости, и идет, и косит, да еще и плачет от радости?

А еще я думал о том, как веками складывалось у крестьянина то, что можно, может быть, назвать вкусом к земле и что делает каждую его работу еще и красивой. И как было бы страшно, если бы какие-нибудь обстоятельства отбили у него этот вкус к земле, оставив ему одну только голую физическую тяжесть труда.

Мы докосили, наконец, до реки, омыли в воде свои косы и сели курить.

* * *

Чем в середине июня пахнет воздух в селе? Отцвела по реке черемуха и те считанные черемуховые деревья, что растут в пределах села: две черемухи возле Николай-Петровых, две — в церковной ограде, две — у Кузовых в огороде — тоже отцвели и осыпали белый цвет, которые на тропинку перед домом, которые на траву на заброшенных прицерковных могилах, которые на бархатную черноту свежевскопанных гряд.

Конечно, можно сказать, что крепкий черемуховый запах еще как бы держится тончайшей примесью и в июньском воздухе, но это была бы явная выдумка.

На самом деле, запах не черемухи, а полевых цветов наносит ветер через прогоны внутрь села.

Острый запашок пчеловодческого дымаря, разведенного на сухих белых ивовых гнилушках, может присоединиться уж к медвяному аромату цветущих трав, а вслед за горьким дымком повеет и чистым медом, потому что для того и разводят дымари, чтобы открывать и проверять кипящие пчелами ульи.

Но перед самым сенокосом, примерно так за неделю до него, когда управятся вполне с сеянием яровых и посеют даже и гречу, в селе начиналась короткая, но энергичная пора, приносящая немало удовольствия и мужикам и бабам, а главное, ребятишкам. Называлась она навозной.

Тогда не будешь различать, откуда наносит цветами, а откуда наносит пасекой, тогда все заглушит и одолеет и один будет господствовать целую неделю иной по силе и крепости, иной по самой окраске своей непередаваемый аромат.

Не знаю, чем объяснить: то ли сознанием огромной полезности навоза для земли, то ли тем, что иной раз и зиму всю держали теленка в избе — была возможность принюхаться и привыкнуть, — но спрашивал я у многих людей, прошедших через самую острую разлуку с деревней и крестьянским трудом — разлуку военных лет, — и все мне говорили, что на

фронте часто вспоминали цветущее июньское время навозной и вспоминаемый запах навоза казался едва ли не самым близким запахом на земле.

Все в нашем селе: нужно сосчитать дома, нужно нарядить людей на собрание, нужно развозить хлеб по трудодням, — все начиналось с Пеньковых, потому что дом их под седой, замшелой осиновой дранкой, осеняемый огромной ветлой, стоит на краю оврага, и если на любом другом углу села возможно построить дом и нарушить порядок счета, то крайнее Пеньковых стать нельзя. Значит, в середине июня у Пеньковых, раньше, чем у других, снимали со скрипучих петель серые тесовые ворота, и открывался, таким образом, широкий проезд внутрь тесного крестьянского двора.

Не знаю, как делалось до колхоза, говорят, что просили «помощь» и соседи с лошадьми приезжали помогать вывозить навоз. Я уже говорил, что не застал доколхозной поры деревни, и помню, что на первых порах колхоза навоз вывозили дружно, сообща, по очереди, начиная с Пенькова двора.

Многочисленная Пенькова ребятня — шесть или семь девчонок, — возбужденная необыкновенностью, носилась тут, попадаясь под ноги взрослым и мешая им делать дело.

Приходилось кое-где разбирать, ломать прясла и хлевы, чтобы ничего уж не мешало развернуться внутри двора лошади, запряженной в навозницу — узкую, похожую на корыто телегу, которая и нужна была в хозяйстве единственно в течение этой июньской недели.

Навоз на телегу нагружали женщины. Вот незримо потек вдоль сторонки и достиг нашего дома ручеек аромата — значит, кончили возиться с хлевами и пряслами, зайдя в коровью избушку, копнули вилами и сочно, с брызгами брякнули на навозницу первый пласт.

Пока бабы нагружают навоз, возчик не упустит момента посидеть на крыльце с хозяином дома, отдохнуть от ломания хлевов и прясел да скидывания с петель ворот и угоститься хозяйским табачком,

в чем для него, возчика, состоит особая прелесть навозной; за неделю объедешь десятки домов и столько же сортов табака перепробуешь за это время.

Бойкая женщина выводит за узду лошадь со двора. За лошадью показывается навозница, нагруженная стогом. С ее шершавых, неструганых досок капают темно-коричневые, как крепкая настойка йода, капли.

Возчик примет у женщины лошадь, возьмется за вожжи, зашагает вдоль села рядом с навозницей, и когда проедет так несколько подвод, то из упавших на землю клочков навоза образуются две различимые темно-коричневые полоски. Тогда-то и примется запах навоза господствовать над всеми остальными запахами, окружающими село.

Если после того, как уедет возчик, у женщин образуется свободная минута, начинается натуральный концерт, по-другому не могу назвать сложный, почти симфонический строй бабьего разговора.

Начинает, допустим, тетя Агаша, как самая что ни на есть частоговорочка. Она начинает сразу с большим энтузиазмом, на высокой ноте. Уж и одну ее понять очень трудно, а тут, вступив с середины фразы, редким баском почнет вторить ей (бу-бу-бу) Олена Грыбова, и так некоторое время они вдвоем ведут мелодию разговора.

Тотчас, не мешкая долго, вступают сразу пять или шесть разной тональности голосов, и теперь, сколько бы вы ни прислушивались, нельзя разобрать ни одного слова. Улавливается только общий характер разговора: мирный, относительно мирный, увлеченный, воинственный, весьма воинственный и так далее, в быстро нарастающей степени.

Характерно, что каждая участница разговора говорит в это время что-то свое, но все они хорошо слышат и понимают друг друга.

Потарахтит порожняя навозница, обрывается концерт, и слышно, как сочно шлепаются друг на друга тяжелые пласты навоза.

Если взрослому интересна и приятна навозная

тем, что и работа не тяжела и покуришь на крыльце с хорошим человеком;

если женщинам интересно собраться в одно место, дабы обсудить во всех аспектах наиважнейшие события последних дней, как-то: кто провожал с гулянья Нинушку Жильцову, чего едят за обедом у Кулаковых и (особенно высокие тона разговора) с кем сидела на крыльце новенькая учительница Татьяна Васильевна;

если надо к тому же поговорить и про вчерашнее кино, показанное в пожарнице: чувствительное, переживательное показывали кино;

если никак не обойтись, чтобы не поругать, найдя причину, председателя и бригадира, хотя скорее всего ругать их вовсе не за что, но было бы желание — не святые люди и председатель с бригадиром;

если все это так, то у ребятишек в навозную свой наинтереснейший интерес.

Тракторы не вошли еще тогда в полную силу, они едва-едва начинались, и главным в колхозном хозяйстве по-прежнему оставалась лошадь. Из поколения в поколение в течение сотен лет передавалась в семье любовь к лошади — к центру, к стержню, к главной опоре хозяйства. Для каждого мальчишки — будущего пахаря — не было в мире ничего более значимого, более важного, чем лошадь, не было, значит, иной, более интересной забавы, не было другой, более короткой возможности почувствовать себя взрослым, «мужиком», кроме занятия с лошадью.

То была пора, когда лошадей села, сведенных на один колхозный двор, называли не просто по своим именам, но так: Петра-Семенычев Разбойник, Бакланихин Графчик, Гафонова Пальма, Лексей-Лексеичев Голубчик, Жильцова Малка...

Долго помнили все, кому какая лошадь принадлежала до колхоза, и даже закреплять за колхозниками для колхозных работ старались их же собственных лошадей. Теперь это поколение лошадей давно вымерло, и теперешние мальчишки возятся около автомобилей и тракторов.

Не знаю, где как, а в наших местах теперь почти

не увидишь эту идиллическую (издали) картину: пахарь налегает на ручки плуга, лошаденка его идет бороздой, так что спина приподнята, а голова опущена вниз, а сзади грачи, выклевывающие из перевернутого пласта земли червяков.

Грачи сразу перестроились и стали сопровождать тракторы, не пугаясь ни грохота, ни лязга, ни запаха выхлопных газов.

И к стогу клевера зимой выгоднее послать трактор, прицепив к нему огромные, из цельных бревен скрепленные сани. Полезет он к стогу напрямки, подминая широкими гусеницами пышную голубоватую целину, и клевера привезет в восемь раз больше.

Недавно, когда решили в Поповом лесочке устроить летний загон для коров, чтобы они там ночевали, и когда решили, что надо бы поставить для доярок избушку рядом с этим загоном, то трактор взял и перетащил избушку целиком из Негодяихи за два с половиной километра. Понадобилось на все два или три часа. А ну-ка разбери ее, да перевози на лошади, да собери снова.

Я к тому вспомнил про избушку, что, начав с пахоты, трактор вошел теперь в быт и делает все, что ему скажут, а разговаривать с ним стало очень просто: он ведь теперь не эмтээсовский, а свой, колхозный: куда хочу, туда и пошлю.

Но память есть память. Недавно разговорился я со сверстником своим — Александром Павловичем Куниным, агрономом и заместителем председателя колхоза, человеком занятым и деловым, и он, просветлев лицом, тотчас перечислил мне все до одной лошади по имени и по их принадлежности к последним единоличным хозяевам. Всё мы вспомнили с ним: и то, что наш Голубчик был вороной, как вороново крыло, с косматой гривой и некладенный, а Графчик — гнедой, а Пальма — белая, а Малка — огромных размеров, как если бы полторы лошади...

Возле лошадей всего удобнее было увиваться нам именно в навозную. До самого поля бежишь собачонкой сзади навозницы. Поле все усеяно рядами небольших навозных куч. Поцапает возчик грабцуль-

ками, набросает кучу, протронет лошадь на несколько шагов и снова поцапает грабцульками. Через два или три дня навозные кучки разобьют, ровным слоем навоза покроются поля, тогда и запашут его в землю, чтобы обернулся он хлебным зерном.

Когда освободится навозница, не ждешь лишнего приглашения, бросаешься к ней, а возчик переворачивает одну доску. Как сейчас, вижу ее шершавую поверхность, сухую и чистую, лишь с маленькими подтеками по самым краям. Садишься на нее, на эту перевернутую доску, и блаженствуешь всю обратную дорогу.

Однако это не верх блаженства и не предел мечтаний. Самая большая радость, как и в каждом деле, может прийти неожиданно. Разожжет Петяк Васильев свою цигарку (из чужого табака), которая у него обычно оттягивает вниз губу, и жалко ему уходить с крыльца.

— Эй ты, как тебя, Борькя, ну-ко, отгони за меня возок, да смотри хорошенько, да кучи-то одна от другой поровнее клади, чай, знаешь!

Счастливый Борька не бросается в этом случае к лошади, проявляя суетливость и нетерпение, но равнодушно возьмет вожжи: почему не сделать одолжение? Вдоль села пойдет рядом с лошадью, не оглядываясь по сторонам, а задумчиво глядя себе под ноги, точь-в-точь как взрослый, которому и правда есть о чем задуматься, а вожжи небрежно бросит на навоз: лошадь умная и сама знает дорогу.

Борькин товарищ, который пять минут назад ничем не отличался от столь неожиданно выделившегося Борьки, бежит сзади в надежде, что уж Борька посадит его на перевернутую доску. Борька, справившись со скидыванием навоза, обратно поедет, стоя на телеге, подергивая вожжи и лихо раскручивая конец их над головой.

По-моему, крестьянский мальчик как только родится, так и начинает страстно мечтать прокатиться верхом на лошади. А когда кончается рабочий день, лошадей нужно отводить в луга, чтобы, уставшие за день, они всю ночь паслись, отдыхали, ели зеленую

траву. Это и есть знаменитое ночное. Взрослым лень отводить лошадей, а потом пешком идти обратно в деревню.

Если пообещает тебе взрослый, что именно ты поведешь его лошадь в ночное, то целый день не отходишь от этой лошади, боишься пропустить нужный момент.

Первый раз в жизни мне пришлось сесть на ту самую Малку, которая была как бы полторы лошади. Сколько раз я ни старался представить себе в воображении, как это сидеть верхом и что при этом чувствуешь, и даже садился верхом на бревно, воображая, что это лошадь, и, казалось, ничего нет страшного, если бревно сейчас начнет двигаться, действительность оказалась иной. Отец, взяв на руки, поднял меня куда-то очень высоко вверх, и первое, что я ощутил, — огромное неудобство, как если бы меня посадили на острое ребро доски. Вдруг доска — показалось мне — накренилась, все части лошади подо мной пришли в движение, и одна ножонка моя поползла вниз, я весь перекособочился и, только судорожно ухватившись за холку, не свалился на землю. Малка сделала шаг. Ее огромные лопатки двигались равномерно и неудержимо, то приподнимая меня, то опуская, главным образом перекатывая с боку на бок.

А тут Юрка Семионов хлестнул Малку жидким прутом по комодообразному заду, и лопатки лошади, вместо того чтобы более или менее плавно подниматься и опускаться, стали бить меня из-под низу, причем одна сторона била сильнее, и в конце концов я повис, зацепившись за холку собственной поджилкой. Меня поправили, и я терпеливо доехал до места, после чего по крайней мере три дня не мог ходить обыкновенно, а все как-то расставя ножонки.

Это потом, года два спустя, не считалось за дело сесть на лошадь без узды, с одним прутом в правой руке и, держась левой рукой за гриву, прогарцевать, лихо откинувшись назад, — безграмотная верховая езда, но грамотнее не научаются и взрослые наши люди. Седла́ ведь почти не знают в нашей местности.

Так или иначе, но все лето, бывало, ходим со сбитыми до крови копчиками.

И все же навозная не имела бы той прелести и той притягательной силы, так что и зимой поминаем и ждем навозную, если бы по случайности не совпадало каждый год с навозной одно наиважнейшее явление природы. Дело в том, что в наших Олепинских прудах как раз в навозную начинали метать икру караси.

Пруды небольшие, расположены один над другим, весной лишняя вода из верхнего течет в нижний, а оттуда по оврагу шумными ручьями выливается на луг и растекается там в ширину, как стеклом покрывая прошлогоднюю луговую травку и сверкая на солнце бесчисленным множеством чешуек, переливается, как будто смеется.

Как умудряются караси жить в наших прудах, неизвестно. Но факт остается фактом — живут. Правда, один год была суровая зима, и пруды промерзли насквозь. Когда весной подняло лед, на каждой льдине снизу, приморозившись к ней, желтели и большие и маленькие караси. Часть карасей, видимо, и тут уцелела на развод, ибо ведется рыбешка по сей день.

После замора следующим бедствием для рыбы, как ни странно, являются большие праздники. Во главе с председателем несколько мужиков заведут в праздник, с утра пораньше, частый бредешок и выволакивают в мотне огромный ком жидкой голубоватой тины. Сквозь голубизну золотом просвечивают караси.

Наши способы были примитивны и патриархальны. Ну, прежде всего — верша, сплетенная из ивовых ли, из ореховых ли прутьев. В вершу накладешь кирпичей, чтобы тонула, а для приманки — горелых хлебных корок и вареной картошки. Лучшая приманка — жмых из-под постного масла, по-нашему, избоина. Снаряженную таким образом вершу толкаешь шестом шагов на десять-пятнадцать от берега, то есть, по существу, на середину пруда. Ночь простоит, а утром нужно вынимать. Дорогая

минута, когда тянешь за веревку, и вот уже показались черные, перепревшие в теплой воде прутья старой верши, вот уж наполовину она выступила из воды, и тогда раздается в верше плеск и трепескание. По шуму, поднимаемому рыбой, сразу узнает опытное ухо, сколько там карасей: ведро, полведра или так себе — десяток карасиков. Были случаи, что набивалось в вершу до двухсот штук, как раз такое-то и бывало в навозную. Навсегда останется жить в памяти ощущение необыкновенно теплых мокрых прутьев верши, парного запаха прелой ивы, ила, самих карасей.

Второй способ ничуть не сложнее. У коробицы мы заделывали нижнее отверстие и водили вдвоем или втроем этой коробицей по дну пруда, поднимая ее время от времени. Для этой ловли нужно надевать на ноги бросовую обувь, такую, чтобы не жалко было лазить в ней по пруду, дно которого сплошь усеяно старыми ведрами, тазами, обручами, обломками кос и серпов, изломанными плугами, обломками бороны, разбитыми бутылками, ободьями от колес, стесавшимися подковами и всем другим, что можно встретить в деревенском быту и что способно тонуть в воде.

Выше колен вязнут ноги в мягчайшей тине.

С коробицей лазали не только ребятишки, но и взрослые. Случалось, и бабы перед складчиной, раздевшись до холщовых рубах, промышляли дармовую закуску.

Таким образом, ко всем июньским запахам и ароматам села, уже упомянутым мною на предыдущих страницах, нужно добавить и присовокупить запахи прудовой тины, которая во множестве выволакивалась на берег коробицами и которая, просыхая на зеленой береговой траве, становилась еще голубее и ярче.

* * *

Рыба рыбе рознь. Хотя я и считаю карася, чисто золотого, даже потемнее, чем золото, с яркими красными плавниками, едва ли не самой красивой рыбой

на земле, однако одно дело — пруд с карасями, а другое дело — река.

Над Воршей можно смеяться: уж очень она мала, даже не по сравнению с другими огромными реками, плавно текущими по огромным равнинам, нет, сама по себе безотносительно мала...

Но можно Воршу и любить, притом не ущербной любовью, как нечто неполноценное, болезненное, жалостное, а просто любить, как, скажем, брат любит сестренку, если она вовсе не Жанна д'Арк, не княгиня Волконская и даже не Сильвана Пампанини, а простая крестьянская девчонка с цыпками на ногах.

В орбиту внимания олепинских жителей Ворша впадает в пределах Журавлихи — красивого смешанного леса, через который промывает себе нелегкий извилистый путь. Конечно, знают люди, что Журавлиха не край света и что за ней тоже течет Ворша, но практически ни один олепинский житель не уходил по реке дальше этого леса, да и в Журавлиху почти никто не ходит: хочется ли идти три километра, когда вот она, Ворша, в двух шагах, под селом.

Если идти Журавлихой по тропинке, ведущей к избушке лесника, то попадешь в густые заросли черемухи. Летом сразу бросаются в глаза обильные кисти с глянцевыми черными ягодами. Про весеннюю пору и говорить не надо: дружно цветет черемуха, белым бело, слегка закружится голова, и растеряешься на мгновение: как же так? Ведь если все это мне зачем-то дано, то что-то с этим нужно делать! Ну, нарисовать бы, по крайней мере! Нельзя же одному и видеть и дышать здесь и так уйти, и люди не будут знать, какая бывает на земле красота!

Не то чтобы одна черемуха росла вокруг. Попадется на глаза необхватный стволище вяза — запрокинешь голову и увидишь вверху пышное зеленое облако, широко распространившееся над лесом. Скользнув по коричневому сосновому дереву, взгляд вознесется под облака, к ярко-зеленой игольчатой кроне с янтарными прожилками сучьев в ее малахи-

товой зелени. У подножия ели, в овальном «зайчике» от пробившегося солнечного луча, просвеченные насквозь, хрупкие, нежные, изнутри засветятся ландыши.

Всех неприметнее в этих дремучих зарослях скромница ольха. Она еще раньше отработала свое во славу красоты земли. Когда тотчас после водополки ни одного листика не было в лесу — одни голые сучья, грязные, неприбранные, неумытые (не прошло ни одного дождя), тогда на выручку природе первая пришла ольха. Она немедленно распустила свои длинные золотые сережки, которые, может быть, оказались бы невзрачными и затерялись бы в буйной летней зелени, но среди голых грязных сучьев были свежи и прекрасны.

От каждой вспорхнувшей птички (а их бездна в Журавлихе, особенно возле реки) вспыхивают на солнце и медленно распространяются зеленовато-золотистые облачка ольховой пыльцы. И ольхе хорошо: листва не мешает оплодотворению, — и земля не прогадала — выручила ее ольха в трудное переходное время. Теперь ольховые деревья отступили шаг назад, стушевались, говоря: «Валяйте буйствуйте, пышноцветущие, справляйте праздник любви, славьте таинство брака. Я уж любила, я уж опередила вас!»

Зайдя в черемуховые дебри, начинайте продираться влево. Продираться придется не только сквозь частые деревья, но и сквозь травы, переросшие вас, а главным образом сквозь крапиву, которая жжется здесь мгновенно и зло, особенно если достанет до уха и глаза. Под ноги вам будут попадаться разные бревна и коряги, принесенные большой водой да так и застрявшие здесь.

К острому запаху крапивы примешается душноватый запах медуниц, а когда потом, в разгар рыбалки, вы будете невольно хвататься руками, измазанными в земле или рыбе, за растущую вокруг траву, руки ваши надолго пропахнут холодящим запахом мяты.

Деревья и высокие травы растут по обоим бере-

гам, вплоть до самой воды. Иные прямо с куском берега постепенно съехали в воду да так и растут из воды, иные омертвели при этом и превратились в подводные коряги. Между двумя плотными, почти обнимающими друг друга сторонами леса, в узком, но глубоком ложе течет воршинская вода. В берегах глубокие подмывы, а в подмывах торчат, перепутавшись, древесные корни. С высокой травы и ольховых веток падает в воду множество жучков, да божьих коровок, да бабочек — отчего бы не водиться здесь самой разнообразной рыбе?

И то имеет значение, что ничем ее в этих корягах не возьмешь. Единственный способ — древняя примитивная удочка, которую, изловчившись, надо забрасывать через дремучие кусты.

Если притаиться под вечер и глядеть сквозь траву и ветки, то увидишь, как начнут, освещенные косыми лучами, неторопливо плавать взад-вперед краснoперые стаи рыб такого размера, что новый человек обязательно удивится: неужели в этой речонке водится такая рыба!

Выбежав из Журавлихи, Ворша слегка растеряется от приволья и, единственно из резвости, запетляет то вправо, то влево. Здесь путь ее по зеленым лужайкам, но ольховые деревья и ветлы все равно будут сопровождать ее всю дорогу. На открытых местах река затемнеет глубиной, похвастается желтыми кувшинками, розовыми цветами стрелолиста и легко, смеясь и лопоча чего-то, по-девчоночьи, как бы даже на одной ноге, поскачет по мелким разноцветным камешкам.

Нужно сказать, что слева все время поднимаются над Воршей зеленые увалы, этакие округлые холмы. Местами река за тысячи лет подмыла их и образовала песчаные и глинистые кручи; местами на увалах растут лесочки; местами дымятся деревеньки; на одном, едва ли не самом высоком увале стоит село Олепино, служащее теперь предметом нашего внимания.

Около деревни Брод начинается Попов омут — ровная по ширине голубая лента, брошенная в зе-

леную траву. Впрочем, голубизна, конечно, дело условное. Цвет зависит от неба, иногда и белой бывает эта лента от частых кучевых облаков, а то и стальная, и тусклая, почти черная в осеннее ненастье, а то вдруг сделается на заре как будто из алого шелка.

После омута, нагревшись на солнышке, едва-едва протискиваясь, цепляясь подолом за кусты и даже оставляя клочья на острых сучьях, низко пригнувшись, подныривая под бревенчатую лаву, приостанавливаясь ненадолго, бежит дальше, сквозь кусты по камням и корягам. Длинные водоросли, волнуясь, тянутся вслед за ней, стараясь схватить подол, а она уж вон где поет свою журчащую песенку.

Под самым Олепином передышка — омут под названием Лоханка, потому что похож по форме на овальную лохань, и, может быть, потому, что десятки поколений олепинских жителей ходили сюда купаться. В летний день вода в лоханке — кисель, взбаламученная ребятишками, этакая теплая мутная жижица, которая даже и не освежает. В это время нужно идти на Попов омут — там нет ни души, вода такая, что, встав по шейку, различаешь пузырьки на щиколотках ног. На кувшинковых зеленых листьях во множестве дремлют синие стрекозы, а если с берега взглянуть потихоньку в корни дерева или куста, там, как в аквариуме, вялая от жары, передвигается рыбешка.

Николай Васильевич Лебедев, серьезный, восьмидесятилетний старик, проработавший шестьдесят лет сельским врачом в Черкутинской больнице, доказывал мне, что у воршинской воды существуют какие-то особые свойства. Не думаю, чтобы это было так, но должен сказать: ни во́ды пяти морей, в которых мне приходилось купаться, ни воды семи озер, ни воды множества рек и речек не приносили мне той свежести во всем организме, какая охватывает после купания в Ворше.

Послушав соловьев под Курьяновской кручей и миновав мост, Ворша утекает к другим деревням, переставая интересовать олепинцев. Но предвари-

тельно, на самой, так сказать, границе, на самом выходе из сферы их интересов образует три больших и глубоченных омута: Черный, Средний и Круглый.

Про Черный все ходили легенды, что никто там, даже с длинным шестом, не мог достать дна из-за студеной воды, от которой ближе к дну начнет ломить ноги, и дерзающие выскакивают обыкновенно, отфыркиваясь и крича: «Кой черт дно! Это пропасть, а не омут!»

В Среднем омуте однажды мы с Колькой Пеньковым увидели, как поверху ходит кругами по часовой стрелке огромная стая голавлей. На другой день притащили бредень, но едва завели — он зацепился за что-то возле дна. При нырянии вниз головой воздуха хватало только на то, чтобы дойти до дна, а не на то, чтобы там действовать и отцеплять. Между тем бредень не двигался и назад. Хорошо, если бы он был свой, а то в Прокошихе у Александра Павловича Павлова взят под залог головы. Когда я нырял, стараясь отцепить бредень от коряги, Колька стоял на берегу и хохотал: депешу Павлову надо посылать, депешу!

Известно, что в Круглом омуте, кроме всей прочей рыбы, живут четыре голавля-патриарха. Редко-редко (но можно увидеть) они, как субмарины, поднимаются из темной глубины и совершают два или три прогулочных круга. Сначала они видятся как некие темные тени и только ближе к поверхности оформляются в широколобых, темноспинных чудовищ, лениво пошевеливающих хвостами. Потом снова уходят в коряжистую глубину. Алеша Щербаков из Курьянихи караулил их и пытался убить из ружья, стрелял по ним неоднократно, но толку не добился.

В этом омуте четырехэтажные подмывы, нижний этаж очень глубоко под водой — наверно, там и живут голавли-патриархи.

Зимой таким толстым льдом покрывается река и таким заносит ее пышным снегом, что если бы не кустарник да не ветлы, не найти бы нашей Ворши.

Никакого подледного лова в наших местах не знают. Мы с Сашей Косициным попробовали один раз опустить мормышки в Журавлихе, там, откуда невозможно уйти с пустыми руками даже в самое бесклевое время, но впечатление мертвой реки произвела на нас Ворша.

Был перволедок, и все было великолепно. На Журавлиху выпал сыроватый ярко-белый снег. Он облепил сучья деревьев, и в его белизне так ярко горели захваченные врасплох тяжелые кисти рябин! Созерцание рубиновых и оранжевых рябиновых кистей среди белого снега искупило в какой-то степени нашу неудачу. Мы даже наелись досыта этой приморожeнной, посластевшей ягоды. Мы провели в родном Журавлихинском лесу замечательный день, но, увы, что может искупить и загладить полную беспросветную неудачу рыбака!

Весной, чаще всего между седьмым и двенадцатым апреля, начинает буйствовать Ворша. Сначала поверх льда накапливается прибежавшая из очнувшихся ручейков снежица, или снеговица, — светлая, как стеклышко, талая вода, на вкус отдающая морозным январским воздухом. Накопившись, снежица забирается под ледяные одежды речонки, и речонка, рванувшись, затрепыхавшись, вдруг ломает тяжелые льды, сбрасывает их с себя и предстает обнаженная, помутившаяся не то со сна, не то от негодования. Кипит, закручивается в воронки, урчит на завертинах, ревет на крутых поворотах, заливает деревья и окрестные луга, срывает с места и уносит все лавы, какие только были через нее переброшены, двинув на таран тяжелые льдины, срезает ими бревенчатые мосты и, охваченная азартом разгула и буйства, подхлестываемая многими оврагами, из которых каждый сам становится как река, мчится дальше в единственном стремлении как можно скорее вбросить свои воды в медленно набухающую и тихо набирающую грозные силы Клязьму.

Разгулявшись, вынесет Ворша льды на залитые ею луга, а тут не хватит силенок, за ночь спадет она на метр-полтора, и останутся луга с приглажен-

ной в одну сторону прошлогодней рыженькой травкой да с причудливым нагромождением тяжелых льдов. Однажды я шел по такому лугу, забылся на минуту, а когда очнулся, то первозданно поразился необычному фантастическому ландшафту. Ночью льды омыло дождем, травка вокруг начала зеленеть. Ослепительно яркие на освеженном зелененьком лугу, обтаявшие, прозрачные в своей темно-зеленой и темно-синей непрозрачности истлевали льды. Они лежали вдоль длинного луга, в непринужденной, естественной и потому красивой разбросанности. В их расположении сохранился тот порядок, в котором они плыли; их нестройная толпа хранила движение воды, в их неподвижности была скрыта динамика, в их обреченности чувствовалось стремление вперед.

Большинство льдин лежало на лугу плашмя, но многие стояли под углом, взгромоздившись друг на дружку. Солнце не то чтобы просвечивало их насквозь, но все же проникало через них, и оттого на лугу под такими льдинами хранился зеленый полусвет-полумрак. Наверно, там был свой микроклимат — сырая ледяная прохлада вместо теплого весеннего дня. С нижней поверхности льдин обильно и беспрерывно падали вниз тысячи полновесных, впитавших в себя зеленый полусумрак капель.

Льдины исходили этими каплями. Они теперь только на вид казались цельными большими льдинами, а ударишь хорошенько палкой или пнешь ногой — вдруг с веселым звоном обрушится льдина, рассыпавшись, и вот уж нет ее, а есть звонкая, сверкающая груда длинных (до полметра длиной) тонких хрустальных игл. Под теплым солнцем на зеленой траве эти иглы выглядят еще более необыкновенно, чем сами льды.

Ранней весной, по неведению своему, местные жители почти не ловят рыбы, разве что ползают с наметками в самую большую и мутную воду. Хотя тут-то едва-едва упадет вода — и брать бы по ночам налима.

Зато когда просветлеет и обогреется река, су-

ществуют у нас два способа ловли, которых я не встречал в других местах.

Где кончается широкое и глубокое место реки, то есть у выхода из омута на мель, мы сооружали запруду, заколотив в грунт два ряда кольев, уложив между кольями земляные пласты с дерном и придавив эти пласты камнями. Оставлялся только узкий проход в середине, который можно было захлобучить в любую минуту теми же пластами, заранее припасенными, заранее уложенными на саму запруду. Через этот ход дугой хлещет тугая вода.

Ниже запруды — мель, где вода струится по камешкам и прядет нитчатые, изумрудно-зеленые водоросли. В конце мели, чтоб рыба «не сбросилась» вместе с водой, сооружали плетень.

К запруде приходишь с вечера вчетвером или впятером, жжешь костер, дожидаешься нужного часа. Известно, что ночью для кормежки выходит из омута на мель крупная рыба.

Дальнейшее понятно само собой. Часа в два ночи дружно захлобучиваем ход в запруде, и вода ниже ее быстро убывает, обнажая каменистое дно. В тишине полуночного часа начинает в камнях шумно трепескаться рыба и там, и тут, и ниже по течению, под самым плетнем. Медлить нельзя, а то под напором воды прорвется плотина и хлынет на отмель спасительная для рыбы волна. Бегаешь по непривычно теплым, омытым ночной водой камням, бросаешься на трепесканье, и вот уже бьется в руках схваченный вместе с водорослями голавль, язь, изящный, гибкий елец. Пока не завелась в реке щука, можно было за полчаса нахватать бельевую корзину рыбы, и вся рыба — благородная бель.

Другой способ оригинален своей примитивностью. В жаркие летние полдни рыба уходит «в корни» и стоит вся в корнях. Тихо подбираешься, подлезаешь под тенистый куст. Пахнет оттуда прохладой, бодягой, ивовой горечью... Наклоняешься так, что голову приходится класть набок, на одно ухо, чтобы все же дышать, иначе не дотянуться до логова. Одну растопыренную руку заводишь с одной стороны подмыва,

другую — с другой и начинаешь тихо сближать. Вот левая рука дотронулась до скользкой прохладной рыбины, и рыбина, мыкнувшись в противоположную сторону, ударилась в правую ладонь. Иной раз, если удобен подмыв, прижмешь десятка полтора рыбы, а потом по одной вытаскиваешь и кидаешь на берег, где стоит твой подручный, какой-нибудь мальчонка, взявшийся таскать одежду и рыбу. Братья Ламоновы лазают по кустам вдвоем: один с одной стороны дерева, другой — с другой. Они большие специалисты, так что и теперь, когда сильно повывелась рыба в реке, умудряются накидать из корней бадью рыбы.

Исцарапаешься весь о сучья, а пальцы вдоль и поперек изрежут клешнями раки, во множестве сидящие в норах, в подмывах и под корягами. У рачих на шейке или, лучше сказать, под хвостом гроздью висит серенькая прозрачная икра. Мы ее объедали прямо с хвоста и очень любили. Она прохладная и приятно кислит.

Самый первый мой выход с удочкой был ознаменован интересным событием. Шел я по горе, а навстречу мне попался сосед Костя Ефимов, старше меня лет на пять. Он был уже подросток, а я пацан пацаном. Очень любил Костя надо мной всячески подтрунивать.

— Знаешь, — говорит, — на что всех лучше рыба теперь берет? Во, гляди! — Сорвал с сосны молодую, нежную свечку, очистил от кожицы, дал мне понюхать желтую, как масло, пахучую сердцевину. — Во, на нее-то рыба лучше всего и клюет. А червяков своих выбрось, разве это наживка?

Я поверил Косте. И вот он стоит за спиной и, злорадствуя и насмехаясь, смотрит, как я, пыхтя, сопя и шмыгая носом, насаживаю на крючок кусочек сосновой свечки.

Не успел я забросить свою из суровой нитки и бутылочной пробки снасть, как пробка дернулась, подпрыгнула, и я в беспамятстве что есть силы рванул удочку вверх. На траве затрепыхалась белая в желтизну рыбина. Я уж и не знаю теперь, что это было:

то ли язь, то ли плотва, — но помню, что была рыбина довольно крупная.

У Кости округлились глаза, и он стремглав побежал домой за удочкой. Но, конечно, ни у него, ни у меня на эту выдуманную наживку больше не клевало. Наверно, увидела голодная рыбина нечто беленькое и, не разобравшись, с налету схватила в рот попробовать, а там, мол, выплюну. Но по неопытности своей я дернул удочку слишком рано, так что она не успела выплюнуть и попалась на удочку. Как бы там ни было, а Костя, прибежавший через десять минут, запыхавшись, с удочками и горстью сосновых свечек, оказался в более смешном положении, чем я.

Мы слышали, что бывает такая рыба — щука, знали про нее поговорку, что на то, мол, и щука в море, чтобы карась не дремал. Так и считалась щука вроде морской рыбы. И вдруг пошел слух, что у нас в Ворше завелась щука и будто бы в Прокошихе попалась одна на жерлицу, а под Калининым видели, как выпрыгнула из воды рыбина с утиной головой.

Щука завелась будто бы потому, что в низовьях реки, под Шаплыгином, нарушилась мельница. Может, оно и так, но в сомнение вводит следующее раздумье. Сколько времени могла существовать Шаплыгинская плотина? Пусть сто, пусть двести лет, что, конечно, невероятно. А ведь река существует тысячелетия; почему же щуке было не зайти лет пятьсот назад и водиться в реке, подобно тому как водится иная рыба?

Недавно пришла еще одна напасть, по сравнению с которой щука покажется пескариной благодетельницей. Курьяновские мужики видели на снегу следы: вроде бы здесь прошел четвероногий, а на лапах перепонки, как у гуся. На снегу кровавые пятна, где зверь расправлялся с вытащенными из-подо льда рыбой и лягушками. Будто живет три семьи выдр: одна в омутах (Черный, Средний и Круглый), другая под Курьяновской кручей, третья в Журавлихе, то есть в самых что ни на есть рыбных местах. Я за-

ходил во Владимире в охотничью инспекцию, и там мне сказали, что выдра в нашу реку не запускалась, разве что зашла сама. Будто бы даже стрелять ее у нас не запрещено, ибо, как сказал мне Юрка-избач: «Она сама себя не оправдывает: видали одну дохлую, а подохла от голода».

Осенью отмирают и упадают на дно разные живущие в воде водоросли, и вода становится студеной и прозрачной. Наверно, так вот в душе человека ближе к старости пропадает все смутное, горячечное, страстное, вдохновенное и остается одна только ясная, спокойная мудрость. Об этом я думаю всякий раз, когда гляжу на осеннюю воду Ворши. А ветер срывает с ветел узкие отмершие листья и швыряет их охапками на середину омута. Как маленькие лодочки, разбегаются они в разные стороны под ударами ветра, что падает на омут откуда-то сверху, как будто наклонился над нашей маленькой Воршей великан и дует на нее, чтобы остудить еще больше.

* * *

В одном месте я упоминал, что всякий счет в нашем селе начинается с бывшего Пенькова дома, затем что Пеньков дом стоит на краю оврага и ни при каких обстоятельствах не может потерять положения дома самого крайнего.

Недавно дома пронумеровали, повесив номерки рядом с теми дощечками, на которых нарисованы то ведро, то лопата, то лестница, а то и топор—кто с чем должен бежать на пожар. И точно, на бывший Пеньков дом прикрепили вывесочку «№ 1».

Теперь я хочу, начиная с бывшего Пенькова дома, пройти по всему селу, по всем домам по порядку, чтобы познакомить читателей с олепинскими жителями. Такой поход или, вернее сказать, обход тридцати шести домов, наверно, будет долог или даже обременителен, но без него картина села не может быть не только что полной (полную никогда не напишешь), но, я бы сказал, — правомочной.

Об одних мне удастся рассказать больше, о других — меньше, третьих придется лишь назвать. Что делать, нельзя же всех людей знать одинаково хорошо! Я мог бы заняться собиранием материалов о том человеке, которого знаю меньше или о котором вовсе не знаю, что рассказать: в конце концов все люди интересны, нужно лишь докопаться.

Собирать материалы я не стал по двум причинам. Во-первых, я взял за главное правило при написании этой книги пользоваться только тем, что вошло в мою память само собой, постепенно, исподволь, в то время когда у меня не было еще и мысли писать книгу про Олепино.

Вторая причина состоит в том, что если бы я о каждом человеке знал одинаково много, то нужно было бы исписать несколько пудов бумаги, и читать написанное было бы, пожалуй, еще труднее, чем даже то, что у меня теперь получилось. Это как все равно при ходьбе в лесу. Когда продерешься через чащу, так приятно, так легко глазам встретиться с пустым местом лесной поляны, где не растет ни одного дерева. Тогда зеленая куща леса на той стороне поляны кажется привлекательней оттого, что глядишь на нее из отдаления, через пустое, безлесное пространство. Не знаю, кто как, а я люблю веселые, непринужденные наши перелески и не променяю их на тяжелую, медностволую, бесконечную корабельную чащу.

Итак, дом первый, принадлежавший Пеньковым. Это была большая дружная семья, состоявшая главным образом из девчонок. Их было семь, и шли они так густо, что только две старшие росли, немного оторвавшись и опередив остальных. Остальные — ровная поросль — играли и переживали детство все в одно время, и все они были как бы моими сверстницами.

Иван Михайлович — глава семьи — умер от воспаления легких перед началом войны; старшие дочери его одна за другой уехали во Владимир, и постепенно выехала из Олепина вся семья; тетя Маша жива и коротает свой век во Владимире, сильно тоскуя по деревенскому дому и по большому густому саду, который был у них и правда неплох; старшая дочь, Шу-

ра, — во Владимире, жена директора завода; Капа — учительница, долгое время жила в Горьком, а теперь, кажется, в Ленинграде; Нюша — во Владимире, работает на заводе какую-то простую работу; Варвара — педагог, живет в Москве; Тамара умерла подростком; Маруся, кончив финансовый техникум и выйдя замуж за военного человека, жила в Сибири, а теперь возвратилась во Владимир; Валентина пошла по торговой части, училась и теперь работает во Владимире; младший и единственный Пеньков, сын Николай, — шофер во Владимире.

С Пеньковыми в самом раннем детстве я общался больше, чем с другими ребятишками. У них в доме жили старинные русские традиции, которые совершенно отмерли к этому времени в нашем селе. Так, например, единственно у Пеньковых я видел, как делают солод, и, может быть, если бы не поел его там вдоволь (пальцем проковыривали дырочку в мешке с теплым, парным, душистым и сладким зерном), то до сих пор не знал бы его вкуса. Ну, значит, и солодовый квас, и солодовый пирог, и солодовый кисель — все это впервые и на всю жизнь было попробовано у Пеньковых. И вовсе не потому у них был солод, а у нас или у других его не было, что жили Пеньковы лучше и богаче, наоборот, я помню, что моя мать, когда я не хотел есть что-либо, всегда говорила мне:

— Отправить бы тебя на недельку к Пеньковым, небось все бы стал есть.

По этой запомнившейся мне фразе можно судить, что жили Пеньковы небогато, да оно и понятно, если вспомнить, что полон стол детей, и все девчонки.

Нигде, кроме Пеньковых, не приводилось мне также увидеть ни тогда, ни в позднейшие времена домашнего деревянного ткацкого стана, на котором ткали бы настоящий холст или настоящие половики. Станина была разборной. В обыкновенное время она лежала на подволоке. Зимой стан собирали, и тогда он занимал всю горницу. Особенно запомнилось мне, как ткали половики. Тетя Маша заставляла девчонок рвать на узкие длинные ленты разное разноцветное тряпье, преимущественно старенькие, изношенные

платьишки. Впрочем, шли в дело и чулки, и мужнины штаны, и мужнины рубахи, и верх с обветшалого стеганого одеялишка.

Тряпья, изорванного на ленты, накапливалась целая груда, и тогда тетя Маша, сев за станок, принималась за дело. Деревянные части станка приходили в движение, и на наших глазах тряпки превращались в ровную красивую дорожку, которую постилали на пол в передней избе, вымытой и выскобленной до янтарной желтизны.

Много лет спустя, во Владимире, у писателя Сергея Васильевича Ларина, увидел я половики — вся квартира была застлана ими. Повеяло таким родным, таким милым от этих домашних половиков, что словно сейчас бы выбросил, свернув в трубу, свой московский ковер и постлал наискось, из угла в угол, половичок, сотканный руками тети Маши Пеньковой. Но половик теперь в России достать, конечно, труднее, чем ковер, разве что где-нибудь в северных краях, где прочнее держатся старинные традиции и ремесла, где еще и туесок из березовой коры, и настоящий корец, и деревянную ложку можно встретить не только в музее, а в крестьянской избе, в быту.

Я говорю вовсе не к тому, что надо, мол, возобновить производство половиков и все алюминиевые, и мельхиоровые, и стальные ложки поменять на кленовые, а бидоны по возможности заменить березовыми туесками.

У человека, чье детство пришлось на нынешние годы, может быть, лет через тридцать-сорок приятные воспоминания будут возникать при виде стеклянного стакана или глиняной чашки, хотя он будет прекрасно понимать все преимущества легкой, удобной, небьющейся пластмассовой посуды.

После того, как Пеньковы уехали из Олепина, дом их заняла Абрамова вдова с детьми. Самого Абрамова я знал очень мало: он переселился в наше село из Кормилкова перед началом войны, купив небольшую пустующую избушку.

Известие о гибели мужа сильно подействовало на молодую вдову — мать троих ребятишек. Лицо ее окинуло экземой, долгие годы нужно было ходить, закрываясь платком, чтобы вовсе не показывать людям своей болезни.

Как были пережиты трудные военные, а затем еще более трудные для деревни послевоенные годы, никто не знает: надо полагать, никому не жаловалась Анна Абрамова.

Теперь она работает дояркой и, судя по тому, что иногда попадает ее имя в районную газету «Коммунист», с работой справляется неплохо. Да и как не справляться, если работа эта при выросших детях и при той оплате труда, которая установилась в колхозе, — светлый полдень по сравнению с зимними ночами первых послевоенных лет!

Дети у Анны выросли крепкие, ловкие, этакие сбитни, а главное, работящие. Сын Генка учится на комбайнера и приезжает в село на праздники в фуражке с молоточками. Он добродушный, работящий парень, но недавно на празднике первый раз опьянел и, когда все собрались в клубе смотреть фильм «Дело пестрых», вышел на сцену и громко заявил, что кино сегодня не будет, он-де, Генка Абрамов, так пожелал. И точно, несколько раз он выбегал и выключал движок на самых интересных местах, так что избачу Юрке Патрикееву пришлось обратиться к народу:

— Как будем поступать: свяжем Абрамова или отложим кино на завтра, — решайте сами.

Но пока решали, Генка уснул тут же на скамейке, и сеанс прошел благополучно.

Старшая дочь, Рая, в городе Киржаче работает в пошивочной мастерской; младшая, Зина, помогает матери доить коров, и, кроме того, она звеньевая по уходу за кукурузой.

Этим летом Абрамовы перебрали старый Пеньков дом, подрубили его, приделали к нему террасу, на которой стоит (видать через большое окно) широкая никелированная кровать.

— А ведь как жили, как жили! — вздыхает, вспо-

миная про Абрамовых, моя мать. — Хлеб с водой да голая картошка, а теперь чай-то сладкий пьют, песок в чашку сыплют и печево каждый день на столе. А модиться-то как начали! Любая девка, как праздник, так и в город за новым платьем или туфлями. Одеваются, что твои городские, не отличишь! Нет, что и говорить, баловать начали народ хорошей-то жизнью.

* * *

...Владимир Сергеевич Постнов. Не работает в колхозе по инвалидности и возрасту; Ксения Петровна, его жена, готовит харчи для колхозных трактористов, а также для командировочных, приезжающих в колхоз из района и области; единственный сын Лев (Левка) недавно вернулся, наработавшись то в Москве, то в Липецке, и теперь проходит курсы, чтобы стать электриком, ибо электричество, обращающееся по огромной стране то в виде могучих высоковольтных потоков — артерии, — то в виде тонюсеньких струек — капилляры, — скоро пробьется одним капиллярчиком и в наш колхоз *.

Но нет, мы не можем уйти из этого дома, не познакомившись поближе с его хозяином — Владимиром Сергеевичем, хотя он и не работает в колхозе по инвалидности и возрасту.

Теперь это невысокого роста, всегда чисто выбритый, торжественно или, лучше сказать, важно прихрамывающий старик. Не трудно догадаться, какой видный, ладный и красивый мужчина это был в молодости.

Я часто задумываюсь, что определило и крутой, своеобразный характер и вечное беспокойство этого человека, и пришел к выводу, что в основе всей жизни, прожитой Владимиром Сергеевичем, лежал голос, дарованный ему от природы.

Дело в том, что Владимир Сергеевич (однако будем называть его так, как все зовут в селе, то есть

---

* Никак не успеешь за жизнью. Пока я писал, события развивались своим чередом: электричество подключили, а Левка провалился на экзаменах.

просто Володя), итак, дело в том, что Володя обладал действительно замечательным басом. Я слышал много великолепных профессиональных басов и теперь, вспоминая, как пел Володя, когда был моложе, понимаю, что в нашем селе существовал уникальный голос.

Пел Володя всегда стоя. Как сейчас, вижу его стоящим возле стола, с округлившимся ртом на напряженном до красноты лице и поднимающимся все выше и выше на цыпочки. Позвякивают стекла, и дрожит огонь в лампе от голоса, заполнившего всю избу. «Соловьем залетным юность пролетела», — чаще всего пел Володя Постнов.

Подчас называют неудачниками людей бездарных, графоманов, которые, естественно, обречены на пожизненную неудачу, если не поймут вовремя, что надо заняться более полезной деятельностью, а не считать себя непризнанными гениями и оттого страдать и ненавидеть весь мир. Ну, какие же это неудачники, если они с самого начала не имели никаких прав на удачу, а если вдруг (и даже не вдруг, а часто бывает) они добиваются удачи, то она есть вопиющая несправедливость и происходит от неумения иных людей отличать золото от определенного вещества, сходного с золотом по цвету.

Володю я называю настоящим неудачником, хотя он сам об этом вовсе не подозревает. Неудачник же он потому, что ему был дан, что называется, дар божий — сильный, красивый голос, а определить в служение людям он его не сумел.

Весной от обильной снеговицы переполняется наш сельский пруд. Вода поднимается до краев, вровень с земляной плотиной, напирает на нее и, глядишь, в одном месте, где было послабее, промывает протоку, водопадом хлещет с плотины в овраг в своем естественном стремлении присоединиться к бóльшей воде. Тотчас привезут навоз, завалят протоку, и на время успокоится вода. Но вот подается плотина в другом месте, и теперь надо снова ехать за навозом и латать новую прореху. Так может продолжаться без конца, пока мужики не выкопают сами достаточный для во-

ды ход и не вставят в него деревянный лоток, чтобы ход не размывало все дальше и дальше. Сильной ровной струей хлещет вода по деревянному лотку, спокойным и постоянным сделается уровень пруда, и можно не тревожиться за плотину, не латать ее навозом: никакой аварии не случится.

Стихия таланта, заложенного в человеке, должна найти свое единственно правильное русло, или, может быть, сам человек усилиями воли, поисками, трудом должен прокопать это русло (и подставить еще деревянный лоток), и тогда жизнь принесет радость творческих удач, удовлетворение и мудрое спокойствие.

Талант, не нашедший выхода, будет всю жизнь мучить и беспокоить человека, прорываясь то там, то здесь, но уже не плодотворной струей, а скорей разрушительной, принявшей уродливую форму; исковеркает самое жизнь, заставит человека быть остро недовольным собой и в конце концов приобщит к горькой.

Я не знаю, почему получилось, что Володя Постнов растерял по пустякам свой голос. Если бы он безвыездно сидел в деревче, было бы понятно, но нет, он долго жил в Москве, бывал в иных городах и, казалось бы, имел возможность выйти на свою единственную дорогу. Он не вышел, а «внутренний зуд» то и дело толкал его на самую разнообразную деятельность.

То он был шофером, когда эта профессия была редкостью, а именно в первые годы революции, и уверял, что возил чуть ли не Дзержинского или кого-то из его помощников. Будто бы это был отчаянный шофер, что похоже на правду, если судить по характеру человека. Я видел фотографию, на которой Володя в кожаной фуражке, в кожаной куртке, в кожаных штанах и сапогах — одним словом, весь в коже, если учесть еще и шоферские перчатки, — стоит около нелепого автомобиля с железными спицами в колесах. Я поинтересовался, и Володя тотчас перечислил мне десятки моделей автомашин того времени, значит, дело ему и правда было знакомо.

Потому пришлось спрашивать о моделях машин, что все знают слабость Володи хотя бы незначительно, хотя бы и не до полной лакировки, но приукрасить действительность.

— В общем (любимое словечко), меня ведь зря-то не беспокоили. Не-ет. Ездят другие шофера, мало ли чего! А я сижу, курю, отдыхаю. Вдруг крик: «Товарища Постнова к главному!» Значит, понадобилось съездить быстро, чтобы как молния, не разбирая дороги. Сейчас завожу машину — и пошел! Как же!.. Специально для такой езды держали. А другие не выдерживали, не-ет.

В двадцатые годы Володя уж не шофер, а прораб.

— В общем... Инженер приезжал на стройку только к вечеру. Бывало, спросит: «Ну как, товарищ Постнов?» А у товарища Постнова одних рабочих восемьсот человек. Сейчас инженер сажает меня в машину — и в ресторан. Я ведь два литра спокойно мог выпить, на мне и незаметно...

Но волнение жизни прибило Володю к родным олепинским берегам. Он построил новую избу, украсил ее вырезными наличниками, обставил городской мебелью: зеленая бархатная кушетка с медными львиными мордами, платяной шкаф с большим зеркалом, круглый стол («В общем, мебель вся прямо из Парижа!») — и стал крестьянствовать.

Вспоминаю, что во время коллективизации он был активным организатором колхоза. Село разделилось тогда на два лагеря: уже вступивших в колхоз и оставшихся пока (потом оказалось, на две недели) единоличников. Володя ходил по домам и пел:

Владеть землей имеем право,
А единоличники никогда!

Живя в деревне, Володя переменил много разных должностей, кроме того, что был и просто колхозником. Так, например, он некоторое время жил и работал в совхозе «Борец», в шести километрах от Олепина. Этот период его деятельности, может быть, остался бы неясным, если бы однажды фетининская девушка не спела на гулянье частушку, не подозревая,

что герой частушки известен слушателям. Частушка была такая:

Как в Фетининском совхозе
Скоро башни упадут,
А товарищу Постнову
Принудиловки дадут.

Несмотря на непривычное для олепинцев ударение над фамилией Володи, ясно было, что речь идет именно о нем. Значит, строил Володя силосные башни. Но башни все-таки не упали.

Потом Володя был дорожным мастером и имел намерение провести шоссе от Олепина до Черкутина. Ему удалось построить через реку отличный мост, который снесло лишь в прошлом году (стоял лет двадцать пять), а также насыпать насыпь к этому мосту по зеленому лугу, дабы сообщение не прерывалось и в водополку. Насыпь, замощенная камнем, цела до сих пор, хотя она заброшена, меж камней пробилась высокая трава, а ездят все на переезд прямо по лугу, объезжая упомянутую насыпь.

Строительство моста было эпохой для нас, мальчишек. Целые дни мы проводили там, смотря, как мужики поднимают веревками тяжелую чугунную «бабу», как, дернув за другую веревку, освобождают крючок и как «баба», скользя по пазам, заколачивает сваю. Дружная работа, кипевшая у реки, заражала нас, и мы не в силах были уйти оттуда до позднего вечера. Кроме того, там валялось много толстой сосновой коры, из которой мы вырезывали кораблики, лодочки или поплавки.

Сторож Иван, оставшийся возле моста на ночь, выжигал из обрезков бревен кадушки. Он брал обрезок бревна, просверливал его в середине и каким-то образом зажигал именно стенки отверстия. К утру вся середина выгорала, и получалась кадушка, в которую нужно было лишь вставить дно. Так что и ночью мы частенько сидели возле многих одновременно выгорающих кадушек.

Мне говорили, что в войну Володя организовал сельскую самодеятельность. Имея голос и слух, ему не трудно было (то есть, может быть, и трудно, но

легче, чем другому) собрать хор и научить его петь как следует. Олепинская самодеятельность, руководимая Володей Постновым, заняла первое место в районе и чуть ли не в области.

Тут нужно отметить, что официально Володя значился в то время в должности «безбожника» при избечитальне, то есть, видимо, пропагандиста по антирелигиозным вопросам. Отметить это тем более интересно, что за последние годы деятельность Володи приобрела, мягко выражаясь, иной характер.

Дело в том, что при олепинском клубе (хотя и построили новое здание) вот уже лет пятнадцать нет ровно никакой самодеятельности. Спрашивается: куда же деваться Володе с его голосом? Володя стал петь в церкви. Церковь наша, как раньше говорили, усердиями прихожан все еще влачит свое поистине жалкое существование. Из другого села, а именно из Спасского, ходит в Олепино поп — отец Александр. По праздникам собираются в церковь пять-десять убогих старушек, и вот начинается служба. Конечно, Володя для них оказался кладом.

Правда, между попом и Володей возникают постоянные трения. Как скоро Володе неважно в точности прочитать или пропеть церковный текст, а главное для него — хорошенько взять и как можно дольше протянуть ноту, то поп сердится и делает ему замечания. Надо знать характер Володи, чтобы понять, что из этого получается.

Самый недавний конфликт произошел у них в последнюю пасху, вернее, в страстную пятницу. Вдруг по селу разнесся слух: Володя вошел в гонор и петь в пасху не будет.

Это известие ввергло в уныние всех немногочисленных богомолок, а я, признаться, заранее зная, что придется писать о Володе, радовался: это как-то дополнило бы и освежило бы его образ.

Весной жители села сначала граблями сгребают мусор с лужаек перед домом. Потом тщательно подметают эти лужайки, и таким образом все село за один день прихорашивается.

Вот уж и отец Александр прошел в церковь для

пасхальной службы, и старушки в черном одеянии потянулись туда же, а Володя демонстративно, с метлой, похаживал перед своим домом, во второй или в третий раз подметая лужайку.

Все люди гадали: устоит Володя или не устоит? Выдержит ли свой нелегкий характер? Ради правды надо сказать, что не выдержал Володя и пошел в церковь, и вскоре из растворенных церковных дверей донесся Володин бас: «Смертию смерть поправ... во гробех живот даровав».

Можно подумать, что Володе нужны деньги, но живет он богато, и все у него есть. И я уверен, если бы дать ему возможность хоть в сельском клубе, хоть в самодеятельности хоть раз в неделю показать свой голос, не видать бы его отцу Александру.

Вообще проблема сельского клуба остается у нас нерешенной, если не брать отдельные сельские клубы — в большой стране могут найтись хорошие и даже образцовые.

До недавнего времени олепинским жителям клубом служил пожарный сарай, стоящий как раз посреди села. Даже подобие сцены с кулисами, созданными из еловых стоек и обоев, было устроено в пожарнице. Когда приезжало кино, машины выкатывались на лужайку, а в сарае расстанавливались скамейки.

Но и тогда, я помню, олепинская молодежь время от времени, даже в летнюю, страдную пору, а не то чтобы в месяцы зимнего бездельничания (холодно все же в пожарном сарае зимой!), загоралась желанием театральной деятельности. Разыгрывали пьесы на сцене; будь то комедия, или драма, или водевиль — все это называлось одним словом — «постановка».

Находили какую-нибудь пьесу, чаще всего совершенно неподходящую нам по теме, но иногда и удачную, и начинали читать сообща, собравшись в одном месте, например в школе. Выбор пьесы зависел, конечно, и от содержания ее, но больше от перечня действующих лиц. Пьеса с тридцатью действующими лицами никак не могла бы нас устроить, если бы даже и была очень хороша. Зато список из шести-восьми

действующих лиц соблазнял, и мы, вооружившись химическим карандашом, начинали распределять роли, надписывая имена «артистов» тут же, на книжной странице. Интересно, что если все мы звали Нюшку Пенькову просто Нюшкой Пеньковой, то никак невозможно было написать на бумаге ее имя таким образом. Бумага требовала официальности, и мы начертывали: «Фрося, ее дочь, девушка лет двадцати двух, — Пенькова Анна Ивановна».

«Акулина, дальняя родственница, женщина лет шестидесяти...»

Начинали ломать голову:

— Может, подойдет Шурка Московкина?

— Нет, она не будет на репетиции ходить.

— А если Шура Ламанова?

— Это бы тоже, она ведь хорошо умеет старух играть: прошлую постановку все за животы держались.

— Итак, «Акулина — Ламанова Александра Ивановна».

Распределив роли, начинали репетировать. Режиссера, конечно, никакого не было, учили друг дружку. Главная же задача состояла в том, чтобы так или иначе начать говорить не своим голосом, а как-нибудь с придыханием, или растягивая слова, или монотонно, подобно тому, как читают вслух ученики второго или третьего класса.

Одна и та же декорация для всех картин и действий, минимум движений по сцене и почти полное отсутствие мимики не мешало зрителям бурно и в общем-то в нужных местах реагировать на ход событий. Они, видимо, дополняли нашу игру своим воображением, и все шло хорошо.

Играть в постановке давалось не каждому. Все же требовались какие-то определенные сценические способности. Так, например, я помню, как мы выбрали на роль балагура и весельчака Колю Балашова из Прокошихи затем, что Коля Балашов был балагур и весельчак в жизни, всегда кривлявшийся на гуляньях и потешавший своим кривляньем девушек. Не было сомнений, что он-то больше всех и подходит

к роли. Но когда все затихли (на репетиции) и ему нужно стало одному в тишине повторять за суфлером слова и фразы, от кривлянья не осталось и следа. Руки и ноги Коли Балашова одеревенели, язык совсем не шевелился во рту, и все поняли, что кривляться на гулянье — одно, а играть в постановке — другое.

От чего же зависело, что мы вдруг соберемся и ставим спектакли и даже выезжаем с ними в другое село, например в Спасское (спасские ребятишки кричат, встречая нас на прогоне: «Артисты идут!», «Артисты идут!»), а то и не вспоминаем про пьесу по целому году. Не трудно прийти к выводу, что все зависело единственно от инициативы: собрать, организовать, уговорить молодежь не трудно, но нужен инициативный человек, который собрал бы, уговорил бы, организовал бы, был бы, может быть, и покультурнее и посвободнее других. Нас «разжигал» на театральную деятельность то председатель сельсовета Сергей Иванович Фомичев, то учитель Виктор Михайлович Некрасов, то кто-нибудь из нас же самих. Но, конечно, естественным и постоянным инициатором в любом селе должен был бы быть заведующий клубом, или по-старому (уже по-старому!) избач.

Теперь нет нужды занимать пожарницу, потому что в Олепине колхозники построили новый клуб, просторнее и удобнее пожарного сарая. Постоянная киноустановка стоит в клубе, есть радиоприемник и проигрыватель, так что когда выставят репродуктор в окно, то можно и на Броду, и в Останихе, и в других деревнях наслаждаться песнями, как-то: «Ландыши», «Тишина», «Подмосковные вечера», «Потому, потому, что мы пилоты».

Перед сеансом кино и после него под перечисленные песни танцуют (зимой — в пальто и валенках), постоянно играют в домино, а особые любители — в шашки или шахматы.

Но, наблюдая за клубом из года в год, я должен сказать, что фактически, в строгом смысле, никакой клубной деятельности в Олепине нет. Я не думаю, что Олепино — исключение: и в Спасском, и в Эльтесуно-

ве, и в Ратислове, и в Снегиреве, и в Черкутине, и в Рождествине, и в Ратмирове, то есть в селах неподалеку от Олепина, видимо, происходит одно и то же.

Юра Патрикеев, заведующий нашим клубом, очень хороший парень, как, наверное, и заведующие клубами в других селах, но если разобраться, то они не больше чем ключники.

Отпереть клуб в определенный час и следить за порядком в нем, а потом опять закрыть на замок да, может быть, время от времени сменить лозунги на стенах — вот и вся их деятельность. А где сельский хор, а где турниры по тем же шахматам с каким-нибудь, пусть маленьким, призом, где беседы о новых книгах, где обсуждение только что увиденного фильма, где живая стенная газета, где разыгрывание пьес? Ничего этого нет.

Юру Патрикеева винить нельзя: он этого не умеет делать. И другой поставленный на его место из числа наших же, сельских молодых людей тоже, наверное, не сумеет.

Нужно вопрос решать иначе. Мы направляем на работу в колхозы тысячи людей с производства: инженеров, механиков, даже директоров предприятий. Становясь председателями колхозов, эти квалифицированные люди, хорошие организаторы укрепляют экономику деревни.

Для того чтобы обновить и революционно изменить идеологическую работу в деревне, нужно, на мой взгляд, направлять на работу в сельские клубы людей с высшим образованием после библиотечных или педагогических институтов. Нужно, чтобы директор клуба был поистине самым культурным человеком в деревне, и не только сам был культурен, но и умел бы и стремился бы приобщить к культуре и окружающих.

Тогда и Володя Постнов пел бы — я ручаюсь! — не в церкви, а в клубе.

...Иногда талант, заложенный в человеке, пропадает даром, иногда он находит свою единственную дорогу. Но почему же не предположить, что талант,

как некое благо, как нечто благородное, светлое и созидательное, как беспокоящая и движущая сила, не может, преобразовавшись, воплотиться в нечто на первый взгляд непохожее и далекое. Есть одно, что в конце концов в полной мере удалось Володе Постнову, — это его великолепный сад.

Мы были очень маленькими и бегали смотреть, как на расчищенном от бурьяна пустыре своей усадьбы Володя высаживал в землю саженцы. Важно ходил он вокруг каждого деревца, торжественно прихрамывая, и говорил:

— В общем прямо от Мичурина!

Деревца росли, начал созревать крыжовник, загустело вишенье, обсыпала кусты черная смородина. Нам, совершавшим набеги на чужие огороды, лучше других было известно, что растет у Володи в саду, как ревниво он оберегает свой сад. Вскоре появилась и собака, вернее, собачонка, широкогрудая, с кривыми, широко расставленными передними ногами («В общем прямо с выставки!»).

Климат у нас не очень-то яблочный, так что один год понатужатся яблоньки, уродят из последних силенок, а на другой год — отдыхать. Но ведь тем дороже каждое яблоко. Да и вкусны они, северные яблочишки: боровинка, сахаровка, анисовка, пресная бель, а пуще всего — антоновка. Антоновку можно положить в шкаф с бельем, и белье воспримет тонкую садовую свежесть. Был еще сорт, который я потом почему-то не встречал нигде: ни в огромных садах, ни на выставках, ни у нас в стране, ни даже в балканских странах; назывались эти яблоки «липовые». В сказке у Пушкина есть строка про яблоко, что-де видно зернышки насквозь. Но воспринимается это как гипербола, как художественный образ, потому что где там на самом деле увидишь зернышки! Так вот у липовых яблок зернышки было видать. Кроме того, они сильно гремели в яблоке, если потрясти им возле самого уха. А врежешь зубы — зальет гортань сладким, прохладным, душистым соком.

Осенью сорокового года яблони сбросили листву и, как всегда, доверчиво отдали себя долгому зим-

нему сну, чтобы весной проснуться, зеленеть, цвести, плодоносить.

Но проснуться им — увы! — не пришлось. Все случилось именно в глубоком сне, нельзя было ни противостоять, ни сопротивляться, да и какое у них, беспомощных, могло быть сопротивление и противостояние!

Железный холод окутал землю, забрался под глубокие снега и в глубину земли. Как цельная глыба льда, как один грандиозный ледяной кристалл, сияли, горели безрадостным ледяным огнем январские лунные ночи.

А весной, когда оттаяла, отогрелась земля, окуталась туманами так, что под их теплым, парным теплом стали совершаться таинственные прорастания зерен и почек, когда как ни в чем не бывало зазеленели травы и вспыхнули одуванчики, и цветущие ветлы стали как золотые облака и смородина расправила свои сборчатые ароматические листики, яблони остались голыми и корявыми. Черные сучья простирали они в ясную голубизну весеннего неба, как бы грозя костляво и неуклюже. Их срубили и распилили на дрова.

С этого года захирели сады и в нашем селе и во всей округе. Потом пошли от пней молодые побеги, но это были уже одичавшие яблоньки, в яблочишках их не было и намека на вкус тех настоящих яблок, которые росли до катастрофы.

Один Володя Постнов с присущим ему упорством развел на месте погибшего точно такой же новый сад, начав опять с молодых саженцев.

Этой весной я был у него в саду. В густом древовидном вишенье установлен стол и скамейки. Летом здесь как бы комната прохладная, с непроницаемыми ни для ветра, ни для солнца стенами. Рядом наковаленка для отбивания косы («В общем я ведь Иван Васильевичу Кунину не уступал. Я ведь очень хорошо косил»). В глубине сада — просторный, с пышной подстилкой, я бы даже сказал, благоустроенный шалаш, который, кажется, не для сторожения яблок должен быть предназначен, а во истину для устройства рая, соответственно знаменитой поговорке.

Долго ходили мы по саду, и не хотелось уходить из уютного, угодного, обихоженного, обласканного уголка земли. Для меня так это и было: не вышла песня у Володи, зато вышел сад, и, значит, сад этот и есть преображенная, своеобразная песня, спетая этим крестьянином во славу родной земли. «Что ж, — подумал я, — если бы каждый человек оставлял после себя на земле по такому саду, давно бы мы жили в одном великом саду».

* * *

...Никита Васильевич Кузов не работает по старости, пенсионер; тетя Дарья, его жена, сильно хворает, не разговаривает, не встает, почти ничего не ест, как у нас говорят — плоха *.

Со стариками живет их дочь Маруся, вдова, мужа убили на войне. В колхозе не работает, исполняет должность письмоносицы. У Маруси есть дочь Нина, в прошлом году окончила десять классов, учиться никуда не поступила, осталась в колхозе.

Перечисленные люди являются только частью семьи. Остальные: Анисья — замужем в другой деревне; Ефросинья — во Владимире работает уборщицей; Шура — во Владимире, должности в точности не знаю; Капа — в Москве, на заводе имени Лихачева, кажется, контролер; Анфиса вышла замуж за украинца и живет на Украине; Лида — во Владимире; сын Василий — во Владимире, на тракторном заводе; сын Николай — во Владимире, токарь по металлу.

Эта большая семья переехала в Олепино из села Павловского, что в двадцати километрах. В колхозе образовалась кузница, понадобился хороший кузнец, вот и подрядили Никиту Васильевича.

Кузовы поселились по соседству с нами, и я скоро подружился с Васей, пареньком постарше меня на один год. Несмотря на свой мальчишеский возраст, Вася помогал отцу в его нелегком, но интересном ре-

---

* Недавно, когда я дописывал эту книгу, поздно вечером к нам в окно постучался старый Никита Васильевич: «Баушка-то моя померла». И, не дожидаясь ответа, пошел к следующему дому.

месле, так непохожем на все остальные крестьянские работы. Значит, и я по праву друга целыми днями сидел в кузнице. Самая первая работа, которая была нам по плечу, — это раздувание горна. Казавшиеся нам тогда огромными желтые кожаные мехи были нацелены острым концом своим прямо в горн, полный звонких березовых углей. Ухватившись за рычаг, начнешь нажимать вниз и отпускать кверху, раздастся прерывистый шум от струи воздуха, как бы тяжелое дыхание, и в горне, все более раскаляясь, становясь из желтого зеленым и синим, начнет шумно гореть огонь.

В раскаленные угли Никита Васильевич, ухватив длинными клещами, совал кусок железа, который быстро, на глазах, розовел, потом краснел, потом, немного распухнув, становился белым. Тогда Никита Васильевич теми же или иными клещами быстро вынимал железо из горна и, ловко повернувшись, клал на наковальню. Легким звонким молотком кузнец ударял по железу, и тотчас молоток его соскальзывал на наковальню, выбивая трель, а точно на то место, по которому ударил молоток, и точно в ту же секунду опускалась кувалда молотобойца. Значит, молоток кузнеца показывал, куда надо ударить и даже как сильно надо ударить (молотобоец в тонкостях понимал язык Никитина молотка), а кувалда, ухая, плющила, разминала, сжимала, разглаживала, сгибала или разгибала горячее железо. Наступал момент, когда снаружи железо, начиная остывать, опять делалось красным и малиновым, а внутри все еще было раскалено добела, белизна просвечивала сквозь малиновый наружный слой, и весь кусок железа казался прозрачным.

Точная музыка молотка и кувалды, сопровождаемая брызжущими в разные стороны звездчатыми искрами, продолжалась недолго (быстро остывает железо на наковальне), но и за это короткое время успевали проступить в бесформенном куске то очертания подковы, то очертания молотка, то очертания лемеха для плуга, то очертания болта, то очертания гайки, то очертания тележного шкворня, то очертания

тележной чеки, то очертания косаря — щепать лучину, — все умел сделать Никита Васильевич из мягкого, как воск, разогретого до белизны железа.

Главный восторг возникал из того, что медлить было нельзя (быстро остывает железо на наковальне), некогда подумать, прикинуть, примерить, рассмотреть со всех сторон. Лишь только ляжет железо на наковальню — и пошла и заиграла музыка кузнецов, великая музыка созидания и творчества, когда что хочешь можно еще сделать из материала: ножик — так ножик, а подкову — так подкову; даже, задумав подкову и начав ее ковать, можно еще спохватиться и вдруг тремя ударами переиначить ее на нож — все это возможно, пока железо горячо.

Но сейчас остановятся, застынут формы и так и останутся ножом так ножом, а подковой так подковой. И появится на земле новая вещь, которой несколько минут назад не существовало, а была она лишь в голове, лишь в замыслах у Никиты Васильевича.

Железа не хватало в сельской кузнице, и Никита Васильевич, не долго думая, начал снимать с церковной ограды узорчатые решетки, сделанные из отменного квадратного железа. Мало ли подков можно выковать из одной только церковной решетки, а их было множество вокруг всей церковной ограды. С утра до вечера весело перезванивались молотки в кузнице.

Запах окалины, металлического дыма, жженого копыта, когда куют лошадь и приставляют к копыту железную подкову, так что копыто шипит и дымится, запах жженого дерева, когда обтягивают горячей шиной обод тележного колеса, сама работа Никиты Васильевича, его шутки и даже неизбежная матерщина, чрезвычайно виртуозная и замысловатая, — все это нравилось нам, мальчишкам.

Никита Васильевич был страстный рыболов и поэт. Однажды он прочитал нам сочиненное им стихотворение, не записанное им, конечно, на бумагу, а так, сложившееся в голове. Я запомнил одно только четверостишие этого стихотворения. Вот оно:

Как-то в кузнице своей
Вешнею порою
Я ковал железный плуг
Мощною рукою.

О чем шла речь дальше, я теперь не знаю. Сохранилась в памяти и одна частушка, сочиненная Никитой Васильевичем про колхозного конюха Ивана Грыбова, нет-нет да и прихватывающего своим курам горстку овса с конного двора:

Как у конюха Ивана
Овес выпал из кармана.
Вплоть от конного двора
Вся усыпана гора.

Никита Васильевич был не только кузнец, но и на все руки мастер. Сделать из листа железа добротное ведро, или бидон, или хлебную плошку, или водосточную трубу (однажды он сделал себе железные калоши на валенки и шумно ходил в них и весной и осенью), покрыть железом крышу, сделать кадушку, сплести сеть, стачать сапоги, подшить валенки, вылудить и запаять самовар, вставить стекла — все это могли умные руки Никиты Васильевича. Теперь Никите Васильевичу семьдесят пять лет. Он уже не работает в кузнице, а получает от государства пенсию — двести семьдесят рублей, что по деревне совсем немало.

Никита Васильевич страдает тяжелой, почти не поддающейся лечению болезнью — алкоголизмом, страдает давно и сам про себя говорит так:

— Винища этого я выдул за свою жизнь омут, покарай меня бог, омут, то есть выдул я его не знаю сколько, и вообразить себе невозможно!

Будучи помоложе, крепко напивался наш кузнец, правда, ни разу не буйствовал, не дрался, хотя крепость руки была такая, что «даже если ударю по щеке, то все равно и из щеки брызнет кровь, покарай меня бог».

Я вспоминаю один курьезный случай, происшедший с Никитой Васильевичем. Дело было в престольный праздник, значит, много гостей сидело у Кузовых за праздничным столом. Хозяин постепенно

сползал, сползал под стол и оказался под лавкой. Подвыпившие гости не заметили исчезновения хозяина и вскоре забыли о нем. Через некоторое время, придя в себя, Никита стал шарить вокруг руками: над ним — доска и под ним — доска, сбоку — доска (стол деревенский с тумбочкой) и с другого боку — тоже в общем-то стенка. Чего тут думать, в гробу оказался кузнец. Гости уж разошлись, и в избе стояла тишина. Вдруг из-под лавки раздался неуверенный, но достаточно громкий крик:

— Караул!

— Лежи, лежи, черт пьяный, налил глаза-то! — закричала на мужа тетя Дарья.

— О Даша! И ты, значит, со мной, ну, ладно, ну, хорошо!

И, не разуверясь в том, что лежит в гробу, но зато убедившись, что вместе со своей Дашей, кузнец уснул снова, на этот раз до полного отрезвления.

С годами, с приходом старости, кузнец стал бояться вина, научился месяцами не брать в рот и капли зелья, но болезнь есть болезнь, и иногда по селу пронесется скорбный слух: «Никита Васильевич опять разрешил». Говорят это женщины с искренним соболезнованием и жалостью к старику. Все прячут тогда от него водку, не дают ему ни под каким предлогом, а он целыми днями ходит из дома в дом, выпрашивая:

— Ну хоть капельку, ну хоть ради Христа, ну хоть маненечко, ну хоть вот сэстолько...

Прохворав недели две, возвращается на стезю и с омерзением и с бранью вспоминает дни только что пережитого кошмара:

— Позор, стыд, хуже нищего был!

Тотчас идет кузнец по всем домам, отдавая кому что задолжал, а главное, наказывая строго-настрого, особенно продавщице Лиде Жиряковой:

— Слышь-ка, ты мне, когда я опять разрешу, ни под каким видом не давай. На колени буду становиться, а ты не давай. Рубаху стану снимать, а ты не давай. Плакать начну, а ты не давай! Это я тебе тверезый, в памяти говорю.

Вот я гляжу на него и думаю: работал ты всю жизнь самую тяжелую работу, ел ты всю жизнь не самую богатую, не самую питательную еду, выпил ты за жизнь омут винища, и все же тебе теперь семьдесят пять лет, и ты еще бодр и можешь еще даже и работать. Сколько же здоровья было отпущено тебе природой, на сколько же лет было рассчитано твое сердце, если бы не травить, не изнурять, не убивать его одним из сильнейших и коварнейших ядов!

Редко бывает, чтобы жена в крестьянской семье сдала и оплошала раньше мужа, если, конечно, не какая-нибудь болезнь или беда. Но вот тетя Даша оплошала скорее. Она лежит неподвижно уж скоро год, не может разговаривать. Просит-просит чего-нибудь, а сказать не может. Прислушиваются, стараются, хотят ведь дать ей то, что она просит, да так и отступятся. А тетя Даша заплачет в бессилии и тоске. Вот если бы умела писать, то могла бы написать на бумажке, да иное было время, не выучила Дарья Кузова ни одной буквы. Посмеивалась, бывало: «Я и без грамоты семьдесят лет прожила, мимо рта куска не проносила». Да, вот когда понадобилась грамота.

Никита Васильевич не может отойти от тети Даши больше чем на полчаса (отправить ее надо, скучно ей одной, все плачет), так что, уходя на рыбалку, я не попадаюсь на глаза соседу, чтобы не растравлять его. На закате мы с ним сидим на лавочке перед домом, и он жалуется, как хочется ему на реку, хоть на часик посидеть с удочками. Потом мы помолчим, а потом он нет-нет да и скажет:

— Слышь-ка, Володя, я тебя по-соседски прошу, ты уж вставь меня в какую-нибудь книжку, хоть маненечко. Так, мол, и так, ковал железо...

* * *

...Четвертый дом наш. Но он теперь совершенно пуст, ибо отец мой помер вот уже скоро будет три года, мать переехала жить ко мне в Москву и при-

езжает в Олепино лишь на летние месяцы. А все мои братья и сестры кто где, в разных городах. Нас было десять человек, так что старшему, Константину, теперь за шестьдесят, а мне, младшему, стукнуло тридцать пять лет. А самый лучший брат наш, Виктор, будучи летчиком, разбился в марте 1954 года.

Что касается Николая, то был в его жизни период, о котором стоит рассказать особо.

Изобретатель радио Попов находился в более трудном положении, чем сегодняшние радиолюбители. Когда он впервые воткнул антенну в атмосферу земли, атмосфера была, увы, пуста. Ни одна радиоволна не носилась в ней, ловко огибая земную поверхность, принимать было нечего и некого: он был один, он был первый.

Теперь другое дело. Теперь вокруг земного шара, взмывая из разных мест, в разных направлениях, перепутываясь, задевая друг за друга, подчас мешая друг другу, со страшной скоростью и днем и ночью носятся радиоволны. Симфоническая музыка, скрипка, джазы, хор Пятницкого и церковный хор, последние известия и стихи Пушкина, интервью с кинозвездой и сигналы бедствия, не поспевающий сам за собой Синявский и торжественный Левитан, английская, итальянская, болгарская, китайская, польская, албанская, испанская, французская, индийская, украинская и всякая сущая на земле речь — все это носится вокруг, обгоняя друг друга, так что в любом месте земного шара в кажущееся безмолвие пустыни, тундры, океана, стоит только сунуть хотя бы невысокую антенну, как тотчас все, что носится в атмосфере, хлынет по ней вниз, дождавшись, наконец, случая, — только успевай выбирать, что именно тебе хочется послушать.

В 1929 году, ровно тридцать лет назад, вдоль нашего села проехала подвода, груженная большим неуклюжим сундуком и стоящими вокруг него ящиками. Рядом с подводой шел, держа в руке фураж-

ку, невысокий человек, одетый по-городскому. Любопытство тотчас было возбуждено, и в то время, как подвода подъехала к сельсовету, все село было тут как тут. На глазах у людей сундук и ящики стали носить в помещение.

— Тяжелые, видать, ящики-то, — рассуждали зрители. — Никак, звери в них, зверинец приехал?

— Это для чего же зверей в сельсовет волочить, вот уж истинно никакого соображения!

Между тем ящики все были расставлены в переднем углу сельсоветского помещения, в которое к этому времени набилось полно народу. Как сейчас, помню, что мне удалось пронырнуть между взрослыми, и я очутился в непосредственной, жутковатой даже близости от всего происходящего. Человек откинул боковую стенку у сундука, и все ахнули, увидев там продолговатые золотистые предметы, установленные плотными рядами. У каждого предмета наверху острый штычок, а вокруг — проволока, проволока, проволока.

Повозившись с разными проводами, протянув эти провода от ящика к сундуку, а также и на улицу через открытое окошко, хозяин всего этого необыкновенного и непонятного откинул другую стенку сундука, и там оказались разные круглые рукоятки, которые он и стал поворачивать то в правую, то в левую сторону.

Значит, и тридцать лет назад порядочно летало радиоволн, в том числе и над селом Олепином, ибо в избу к изумленным и потрясенным слушателям тотчас слетели с неба звуки музыки. Потом мужской голос громко заговорил, потом запели бабы, потом затрещало, затрещало, а вслед за треском затараторило не по-нашему.

Между делом приезжий объяснил собравшимся, что это и есть радио, о котором, вероятно, все слышали.

Многие действительно слышали про радио, и хотя дивились и даже отпрядывали назад, если вдруг слишком громкие звуки вырывались из сундука, но

все же радио так и принимали за радио, то есть непонятное за непонятное.

Других смущали размеры сундука, и поэтому иная старушка, придя домой, кропотала про себя: «Как же так, прямо по воздуху и передается, держи карман шире. А бог? Насажают в сундук мужиков да обманывают народ, антихристы несчастные!»

Вечером в сельсовете приезжий развесил на стене простыню, велел мальчишкам крутить ручку в некоей машине и привернул огонь в лампе-молнии. О, эти первые немые кино в деревне под неровное жужжание динамо-машины, эти крупные буквы на экране, задерживаемые подолгу и читаемые вслух хором, сразу пятью или шестью грамотеями, с одинаковой, безразличной интонацией, что бы там ни было написано! Я сейчас не могу вспомнить, как переживали олепинские жители самый первый увиденный ими фильм, как не вспомню, о чем был этот фильм. Помню лишь всеобщий хохот, когда появилась на простыне маленькая беленькая собачонка.

На другой день сундук и ящик были снова погружены на подводу. Блуждающая «культурная точка» — точечка яркого света — пошла блуждать дальше в потемках русских равнин, если даже равнины эти были залиты июньским солнцем.

Итак, это был первый случай. В том же году, осенью, радио в нашем селе получило неожиданное и своеобразное развитие.

Личность в конечном счете не может ни ускорить, ни замедлить течения истории, так что радиолюбительская деятельность моего брата Николая, например, о которой сейчас будет рассказано, не приблизила к Олепину эпохи современных радиоприемников и телевизоров: они не могли появиться раньше, чем появились, — но несомненно, что в свое время помянутый брат Николай сыграл в деле радиофикации села и его окрестностей огромную роль.

Ему тогда было, по всей вероятности, пятнадцать или шестнадцать лет, потому что он успел уж окончить семь классов. В школе он учился во Владимире под присмотром старшей сестры, там и стал ходить

по вечерам в кружок радиолюбителей. После седьмого класса у него получился перерыв в учебе. Впереди вырисовывалась длинная деревенская дождливая осень, а за ней еще более длинная зима. На эти осень и зиму и падает начало его бурной радиодеятельности.

Тотчас весь дом наш наполнился запахом и даже дымом от испаряющегося или сгорающего (бог его знает!) нашатыря, соляной кислоты, олова, меди, цинка, жженого карболита или эбонита. Тисочки разных размеров были привинчены к столу. Напильники, плоскогубцы, проволока — от тончайших медных волосков до толстой, свитой из множества более тонких проволок, — фарфоровые ролики и фарфоровые трубочки, красивые крупные кристаллы медного купороса, разные металлические пластинки, шурупы, изоляционные ленты, парафин, морилка, политура, лаки, черная эмаль, заклепки и, наконец, множество готовых деталей, назначения которых я понять не умел, — все это заполняло наш дом, не валяясь, однако, в беспорядке где попало: брат рос образцом аккуратности и последовательности в действиях.

Как раз в это время на Черкутинском кладбище стали исчезать один за другим превосходные цинковые кресты; цинк был поставлен на них первосортный, без примесей (старики не заботились об экономии цветных металлов), то есть точно такой цинк, какой нужен был брату.

Я по младости мог только созерцать священнодействия брата, мешая ему, увертываясь из-под горячего паяльника, разогреваемого в обыкновенном утюге. Единственно, в чем я еще кое-как помогал Николаю, это в производстве стаканов из пустых бутылок. Бутылку опоясывали мы туго-натуго шпагатом, намоченным в керосине, а потом шпагат зажигали. Дав погореть ему как следует, то есть дав нагреться опоясанному месту, бутылку совали в холодную воду, раздавался треск, и бутылка оказывалась перерезанной напополам. Стакан с ровными краями готов.

К одному проводу припаивали цинковую пластинку, полученную из черкутинского креста, к другому —

свинцовую ленту, скрученную спиралью, и то и другое опускали в стакан из бутылки, наливали туда какой-то чертовщины, и таким образом получались электрические батареи — питание всевозможных радиоагрегатов. Помню, что батарей было множество, различных как по величине стаканов, так и по количеству их, стоящих рядами там и сям.

Нравилось мне также глядеть, как «травится» соляная кислота. В баночку из-под гуталина, полную соляной кислоты, кидал я цинковую пластинку, которая тотчас покрывалась пузырьками. Пузырьков с каждым мгновением становилось больше, они начинали мельтешить, подниматься, и все закипало, как на огне, и кипело до тех пор, пока от цинка ничего не оставалось. Такая травленая кислота годилась для паяния.

Двойные рамы окна были просверлены в двух местах, в образовавшиеся отверстия вставлены фарфоровые трубки. Сквозь трубки брат вывел на улицу два провода: я уж знал, что это антенна и земля.

Большой железный шкворень от старой телеги пришлось, очистив как следует от ржавчины и колесной мази, закопать глубоко в землю. Он и сейчас, наверно, там, хотя никаких проводов от него в избу уж не тянется, да и само место теперь можно вспомнить лишь приблизительно.

На крыше дома, возле трубы, Николаю удалось поставить высокую мачту на шести растяжках, и дом наш стал походить на корабль, отправляющийся в плавание. Антенну каким-то образом ухитрился брат натянуть между этой мачтой и звонницей колокольни, подняв проволоку выше лип, растущих вокруг церкви.

С антенной бывало у него много хлопот. В иные зимние дни она так густо обрастала инеем, становилась такой тяжелой, что не выдерживала тяжести и лопалась.

Когда антенна и земля были готовы, в доме начались еще большие чудеса: во всякое время у нас в доме говорило радио. Сначала его можно было слушать только в наушники, потом Николай соорудил

черную тарелку из жесткой бумаги, и вот из тарелки тоже начался разговор. Но как скоро я добрался до винтиков в середине этой тарелки, то она и перестала разговаривать. Пришлось там что-то припаивать снова.

По вечерам Николай долго не ложился спать, и, когда мать говорила ему, что пора бы, он отмахивался нетерпеливо:

— Подожди, скоро будет заграница.

Это таинственное слово соблазняло меня, и я, засыпая на стуле, сидел, дожидался, когда будет заграница. Наконец лицо у брата просветлялось, он замирал, как будто услышал что-нибудь необычное. А в наушниках в это время тихонечко, да и то с потрескиванием, играла музыка. Я в том возрасте не любил одной только музыки без пения и ложился спать разочарованным: подумаешь, невидаль твоя заграница, очень уж она скучная. Интереснее, когда играют на пиле.

Но иногда (видимо, я становился постарше) волнение брата передавалось мне, мое детское воображение начинало смутно, но самостоятельно работать, и возникало сладкое ощущение некоего иного мира, с иными людьми и иной жизнью, отделенного страшным расстоянием от маленького села Олепино, затерявшегося в глубоких ночных сугробах.

Постоянное совершенствование приемников было только одной стороной деятельности брата. Он ловко смастерил передаточный ключ, и азбука Морзе сделалась главным в жизни. Я тогда знал ее всю наизусть и мог выстукивать на ключе, хотя теперь, к сожалению и стыду, не знаю ни одного знака.

Из нашего дома в школу, где квартировал учитель Федор Петрович Орлов, брат провел сначала телефон, и они с учителем во всякое время разговаривали друг с другом. Аппаратов у них, конечно, не было, а были самодельные микрофоны.

Впоследствии Николай снял проволоку и наладил с Федором Петровичем радиосвязь.

Деятельность в пределах одного дома не могла удовлетворить неугомонного характера, тогда-то

и началась радиофикация села, которая продолжалась несколько лет, даже и в то время, когда Николай стал учиться в Академии связи имени Подбельского в Москве.

О, эти детекторы, эти кристаллы то с темными, то со светлыми блестками и точечками, по которым надо терпеливо шарить кончиком тонкой, чуткой пружинки, нащупывая наиболее удачную «точку»! Кристаллик рос и расширялся, он становился огромным, как земля, а черные и светлые точки на нем были как земные города и земные страны.

Сейчас невозможно вспомнить, в каком доме поставил Николай первый детекторный приемник, но пример оказался заразительным, и вскоре село стало похоже на полярную зимовку — обычно рисуют их с множеством радиомачт. Первое время, когда сбивалась настройка, бежали к Николаю, чтобы он пошарил по кристаллику, и я в этом деле был его первый заместитель. Но вскоре олепинцы сами научились тяжелыми крестьянскими руками своими, заскорузлыми от жары и мороза, обращаться с хрупкой стеклянной трубочкой детектора. Помню также, что в случае, если детектор оказывался без стекла, то крестьяне накрывали его обыкновенной стопкой для водки, чтобы защитить таким образом от пыли.

Приемники Николай делал и собирал сам, а деньги брал только те, что пошли на разные детали и, главное, на антенну, которую он умел где-то покупать.

Слава о Николае распространилась по окрестностям. Длинные шесты радиомачт стали подниматься на Броду, в Курьянихе, в Прокошихе, в Борисове и в других деревнях.

Я уж упоминал, что брат со временем был принят в Академию связи имени Подбельского. Но заказы и требования на установку радио продолжали поступать. Живя в Москве, но не имея характера отказать землякам, Николай заставил меня, подросшего к этому времени, собирать приемники из присылаемых им готовых частей и устанавливать радио в крестьянских избах.

Я вспоминаю два случая из моей «радиопрактики» того времени. В позднейшие времена я к ней никогда не возвращался.

Поставил я радио в Борисове, все сделал как следует, как учил меня брат, подключил приемничек, а он не говорит. Туда-сюда, открыл ящик, проверил все контакты, не отпаялось ли чего, раскопал в подполье заземление и закопал его снова — не говорит мое радио. Провозился более двух часов. Хозяева начали посматривать на меня подозрительно.

— Наверно, сейчас у всех станций перерыв, — стал я, наконец, убеждать или, проще сказать, обманывать добрых людей. — А вот вечером кончится перерыв, оно и заговорит.

Был ли тут обман? Наполовину был. Потому что я наполовину сам верил в эту версию: ну все, до мелочей, в порядке, а приемник не работает. Почему такое? С другой стороны, я знал, что ежели бы он работал, а молчали бы все станции, то слышался бы характерный треск при дотрагивании до кристаллика, то есть при настройке.

— Так-то так! — твердо ответила хозяйка. — А ты уж, соколик, до вечера подожди. Вот заговорят эти твои станции, и пойдешь домой, я тебя и чаем напою.

Поняв, что сбежать не удастся, стал я проверять все снова, начиная с антенны и кончая землей. Разобрал наушники, отделил даже концы их шнура от вилки — колдовство, да и только. Наконец, тщательно щупая каждый сантиметр провода от приемника к переключателю, я заметил, что натянутый провод в одном месте как-то жидок и мягок. Обрезал, а там под обмоткой перервалась медная проволока. То есть большей радости я впоследствии не испытывал даже от написания поэм.

— Вот так-то, теперь очень ладно, — сказала добрая женщина. — И станции, вишь, заработали.

Я покраснел от стыда за минуту малодушия и, поскорее распрощавшись, бегом побежал в свое село. Бегать бегом тогда было для меня в порядке вещей: я был мальчишкой.

Вторая «авария» носила другой характер и произошла уж не в Борисове, а в Николютине.

Провозившись целый день с установкой мачт (хозяин дома активно помогал мне в этом), настроив приемник, я собрал плоскогубцы, остатки проволоки, оставшиеся ролики и все, что у меня было, и отправился было домой. Но хозяин дома, Николай Федорович Ломагин, остановил меня.

— Ты что же, та-шкать (то есть так сказать), работал, та-шкать, работал, а теперь уходить. Так не годится, та-шкать, надо спрыснуть, или, та-шкать, обмыть.

С этим словом он достал из погреба ледяную (сразу запотели стенки) водку, а также соленых грибов и еще какой-то там снеди. Конечно, налил он мне обыкновенную деревенскую мерку, то есть чайный стакан. Я до этого не пил еще водки, и страх, как всегда бывает в случаях «первого раза», боролся с любопытством, и любопытство, как всегда получается, победило страх. К тому же не хотелось ударить в грязь лицом: что же, радио поставить сумел, а выпить не в состоянии!

— Ты, та-шкать, закусывай, закусывай грибами или вот, та-шкать, картошкой, не стесняйся и будь как дома.

Но я уж смутно слышал долетающий издалека голос Николая Федоровича. Кожа на щеках и скулах странно натянулась, ледяной огонь моментально разлился и в ноги и в голову. Руки и все тело налились необычайной силой, мне казалось, если я возьмусь одной рукой за угол дома, то и приподниму его без всякого труда.

— Это что, — плел между тем мой язык, — радио провести нам пустяки. У меня, если я захочу... солоница и та заговорит, во!

— Ты, та-шкать, молодец, но ты закусывай, грибы вот ешь, картошку.

Между тем наступил вечер, и в небо вышла полная, в соку и силе луна. Дорога от Николютина до нас, вернее, не дорога, а тропинка, пролегает по крутым, глубоким оврагам, кручам, буграм, да еще два

лесочка попадаются на пути. Не умею рассказать всей дороги, но помню, что луна почему-то оказывалась то совсем справа, со совсем слева, то вверху, над головой, а то уж вроде бы и внизу, под ногами. Утром выявилось еще одно противоречие: мне казалось, что я шел по самой ровной дороге, какая только может быть, и даже не шел, а в некотором роде летел на крыльях, минуя все неровности земли, а одежонка моя говорила о том, что я как раз довольно часто с этой земной поверхностью соприкасался. Никогда я уж не чувствовал себя таким сильным, таким могущим все на свете, таким единственным в целом мире. В то же время я, наверно, никогда потом не выглядел таким беспомощным и смешным, если бы поглядеть на меня со стороны.

В Олепине было гулянье, и я пошел туда, но моя старшая сестра увидела меня и, зная, где я был, и сразу все поняв, уложила спать, и никто, кроме нее, не узнал, каков я был вечером.

Но я отвлекся от темы. Радиоприемники, установленные Николаем, существовали во всех деревнях довольно долго, пока после войны их не вытеснили батарейные ламповые приемники «Родина», которые (не скажу про другие деревни) в нашем селе стоят почти в каждом доме.

Но жизнь продолжает свое движение. Батарейные приемники, просуществовавшие более короткое время, скоро тоже уйдут из деревенских домов, уступив место обыкновенным приемникам, действующим от обыкновенного электричества.

Казалось невероятным: как это вместо керосиновых ламп, зажигаемых как можно позднее и гасимых как можно раньше, как это вместо красноватых, проступающих из летней или зимней ночи окон вдруг появятся ярко-белые полосы света на сугробах ли, на зеленой ли траве.

По полям сначала вразвалочку (пока не укрепили в земле как следует) пошли столбы, выравниваясь там и сям в стройные линии. Подойдя к какому-нибудь дому, столб запускал в избу щупальца из медной проволоки, которые ветвились в избе, сбегая по

бревенчатым стенам к черным розеткам или свисая с потолка и оканчиваясь крупной прозрачной каплей электрической лампочки.

Сначала сказали, что свет подключат к июню, но срок этот несколько раз откладывался. Электромонтеры целое лето лазали по столбам, обув ноги в железные кошки, и ходили по полям и дорогам с мотками проволоки через плечо.

Мне ничего не стоило бы сочинить, как все село собралось на митинг, и какие речи там произносились, и какой это был праздник, но дело было так, что линию подключили в два часа, в темную августовскую ночь. Помнится, я проснулся оттого, что сделалось как-то беспокойно во сне, как если бы в мире что-то случилось. Уличный фонарь, установленный близ нашего дома (три фонаря установили в селе), наполнил комнату светом, при котором, если подойти к окну, можно бы прочитать газету. Я посмотрел в окно вдоль села: в двух домах ярко светились окна, другие были темны. Ни шума голосов, обсуждавших событие, ни песен и плясок по этому поводу — ничего не было слышно.

На другой день, или, вернее, вечер, загорелись все до одного окна. То ли оттого, что августовский вечер был особенно темен, то ли как бы еще в невольном сравнении с позавчерашними лампами, ослепительным казался этот свет.

Один из трех столбов с уличным фонарем поставили около магазина. Он возвышается над низким, толстым столбиком со стеклянным фонарем, какие показывают в кино около булочных времен Антона Павловича Чехова. В причудливом фонаре, наверное, и до сих пор стоит семилинейная керосиновая лампа, которую так и не убрали отсюда, про которую просто-напросто вовсе забыли на другой же день.

Я считаю знаменательным как раз то, что, хотя не было митинга и всеобщего праздника, каждый олепинский житель хоть один раз, а произнес в течение дня: «Ну, дожили, дождались и мы!.. Ведь что делается, что делается!»

В остальном электричество принято как должное, как то, чему давно бы пора. Сейчас все присматриваются друг к другу — кто первый поедет в город за телевизором: надо же проверить на соседе, как он, будет ли чего-нибудь показывать.

Итак, за тридцать лет пройден путь от неуклюжего сундука, возимого на лошади по деревням и селам, до собственных телевизоров в домах, которые не удивляют, не пугают, не потрясают жителей деревни, а являются обыкновенными, как диван, никелированная кровать или шифоньер, и все дело состоит в том, чтобы поехать во Владимир и привезти его.

Трогательно-смешным показался бы сейчас наш Николай с его детекторными приемниками, но воздадим ему должное: в течение десятилетий жители Олепина не дыша водили по кристалликам хрупкими пружинками и, надев наушники, слушали хор Пятницкого и все остальное, что говорила, играла и пела для них Москва.

* * *

...Александр Николаевич Солоухин *. В колхозе не работает: пенсионер. Долгие годы состоял председателем сельсовета то у нас, в Олепине, то в соседнем

---

* В нашем селе половина народу — Солоухины. Семьи Солоухиных теперь не знают родства между собой, но несомненно, что все они произошли от одного корня. Старики говорят, что было три брата Солоухиных. Они расселились: один — на Броду, другой — в Олепине, третий — в Шунове. И действительно, только в этих трех деревнях встречается эта фамилия, и если найдешь где-нибудь в Москве или Ленинграде однофамильца, то окажется, что он выходец из наших мест.

У профессора Александра Александровича Реформатского, будучи слушателем его лекций, я пытался выяснить этимологию нашей фамилии, сообщив ему, что есть к тому же во Владимирской области маленькая речка Солоуха и что если фамилия еще и могла произойти от какого-нибудь там соленого уха, то какая связь между соленым ухом и рекой? Профессор Реформатский одним ударом разрубил этот гордиев узел, сказав, что река некогда называлась Соловуха — от обилия водящихся на ней соловьев, но что потом согласная буква, стиснутая двумя гласными, ассимилировалась до полного выпадения. В дальнейшем в этой книге, если не будет указываться фамилия человека, надо иметь в виду, что он Солоухин.

селе Черкутине. Жена его, Анна Кузьминична, в колхозе тоже не работает. Она уборщица в школе и, кроме того, готовит харчи для комбайнеров, трактористов, электротехников. Дочь Юля вышла замуж в Курьяниху; дочь Нина живет под Москвой, в Лианозове, и работает, кажется, трамвайным кондуктором; ее пятилетняя дочка Тамара Горохова живет с бабушкой и дедушкой, совсем отвыкла от города и говорит по-владимирски — на «о».

Анна Кузьминична, хозяйка дома, — лишь осколок от большой семьи, населявшей некогда этот дом: родители, Кузьма Ефимович и тетя Марья, померли, дочери их, то есть сестры Анны Кузьминичны, повыходили замуж в окрестные деревни, брат Костя живет во Владимире и работает фрезеровщиком. Про этого Костю я немного рассказывал в главе о нашей реке Ворше, а именно как он заставлял меня удить рыбу на кусочек сосновой свечки.

Не знаю, какой бы из него вышел колхозник, если бы он остался жить в деревне, но фрезеровщик Костя первоклассный. Перед самой войной весь Владимир говорил о нем, потому что однажды он взял и выработал за смену шестьдесят восемь норм, то есть выполнил план на шесть тысяч восемьсот процентов. Эта цифра запомнилась мне из газеты «Призыв»: была напечатана крупным шрифтом на первой странице, рядом с портретом Кости.

Итак, он заработал за день тысячу рублей, а я жил тогда на восемьдесят рублей в месяц. Каждый день на базаре я покупал на рубль жирной свинины (сто граммов) и варил с этой свининой вермишель. Сухой клюквенный кисель, разводимый в кипятке, дополнял мой рацион. Иногда я позволял себе на пятьдесят две копейки халвы, вкуснее которой совершенно ничего не было во всем мире.

Однажды на улице встретились мы с Костей, и по виду моему, по моим, может быть, глазам он понял, что я голоден.

— Я как раз иду в ресторан, пойдем со мной, — пригласил меня Костя.

Владимирский ресторан, ныне называемый «Клязьма», именовался в то время иначе, а именно «Прогресс».

Уже медведь, ощеривший желтые клыки и державщий в лапах шарообразный абажур из белого стекла, заставил меня попятиться назад, и я, вероятно, вовсе убежал бы из ресторана, если бы Костя не потянул меня за руку. С опаской прошел я мимо чучела на широкую лестницу, и тотчас меня начали отражать зеркала.

Множество рюмок и бокалов на столах, застланных белыми скатертями, а также огромные картины на стенах, а также золотистые шторы на окнах — все это совершенно подавило меня, одетого в простенькие штаны, рубашку с засученными рукавами и обутого в синие прорезиненные тапочки. Мне сразу стали вспоминаться вычитанные из книжек аристократические ужины и банкеты; но вот фантастический, неведомый доселе мир роскоши приблизился ко мне и окружил меня.

Зеркала умножали количество огней, вдруг заиграла музыка, и все слилось в сплошной блеск, так что Костя вполне мог наслаждаться произведенным эффектом, которого он, видимо, и добивался.

Тут он подал мне карточку с наименованием блюд и сказал, чтобы я выбирал что только пожелаю. Глаза мои не столько задерживались на названиях блюд, сколько на столбцах цифр, обозначающих цены, и ужас окончательно объял мою юную, неискушенную душу: ведь там были блюда, за которые надо было платить по пять и по шесть рублей!

Тотчас я обратился к разделу, где помещались разные каши и оладьи, и сказал Косте, что я хочу каши, а если ему не жалко, то пусть он возьмет для меня две или три порции. Но Костя распорядился по-своему. Он заказал водки, разных холодных закусок, а на горячее по бефстроганову. Я совершенно не запомнил вкуса съедаемых блюд, может быть, даже я ел, не разбирая вкуса, но зато хорошо помню, что пир наш обошелся Косте в девятнадцать

рублей, и пока, несколько захмелевший, я сходил с лестницы, мозг мой лихорадочно работал, прикидывая, сколько же халвы мог бы съесть я, потратив на нее эту колоссальную сумму!

Заходя теперь в «Клязьму», я не могу понять, что же именно произвело на меня такое потрясающее впечатление в этом сереньком владимирском ресторане. Правда, нет теперь в «Клязьме» того медведя, но я думаю, что облезлое, порыжевшее от времени чучело не спасло бы положения. Я недавно справлялся, и мне сказали, что чучело это, побывав во многих учреждениях города, преспокойно стоит теперь во Дворце пионеров, держа в лапах вывесочку: «Добро пожаловать!»

Что касается Кости, то он на окраине Владимира, а именно в селе Добром, купил дом и развел сад. Он по-прежнему работает на заводе фрезеровщиком, а жена его, Аня, торгует квасом около нового ресторана под названием «Владимир». Приехав во Владимир в жаркое летнее время, вы обязательно увидите ее: в белом халате она действует возле железной цистерны, проворно споласкивая кружки и наполняя их утоляющей жажду кислой жидкостью.

* * *

...Александр Федорович Сергеев работает счетоводом в правлении колхоза; Антонина Кузьминична — учительница в нашей Олепинской школе; сын Станислав (Стаська) служит в армии; сын Вова учится в шестом классе.

Сергеевы переехали в Олепино из Останихи, купив плохонький домишко после семьи, выехавшей в город Ковров. Домишко действительно был невзрачный, но, значит, Александр Федорович хозяйским глазом умел разглядеть, что́ из него можно сделать, приложив руки и потратив некоторую сумму денег. Дом был подрублен, частично перебран, к нему пристроили террасу, его покрасили зеленой краской (а наличники — белой), и теперь это не дом, а игрушка. Александр Федорович во всякое время расчищает мусор около

дома (не оттого ли и трава вокруг него растет гуще и плотнее, словно бы даже ярче, чем вокруг других домов?). Между заброшенной избушкой и этим домом стоят три старые могучие березы, великолепно украшающие усадьбу. Ветла перед домом, одряхлев, разваливается на куски, и Александр Федорович посадил новые ветлы, воткнув в землю в трех местах по неотесанному ветловому колу. Иногда я вижу, как Антонина Кузьминична поливает эти колья, из которых вырастут вскоре кудрявые зеленые деревья, и скворечники как бы сами собой появятся на них.

Год назад Александр Федорович и Анна Кузьминична вынуждены были зарезать и продать на мясо корову.

Наряду с иными стихийными бедствиями, как-то: пожар, град, начисто выбивающий хлебные поля, ненастье или, наоборот, великая сушь — есть в деревне еще одно бедствие, о котором, может быть, и не знают многие городские люди. Вдруг ударит набат, и, когда все выбегут на улицу смотреть, где горит, бьющий в набат крикнет: «К Самойловскому лесу бегите, коровы объелись!»

Прихватив ножи, бегут мужики к Самойловскому лесу, а бабы тотчас начинают голосить, еще не зная, кого из них поразило несчастье.

Впервые я столкнулся с этим, когда мне было едва ли пять лет. У нас была отличная ширококостая, длиннотелая корова-симменталка светло-красной масти, с белой добродушной мордой. Звали ее Нозорька. Видимо, сначала имя у нее было просто Зорька, а потом прибавилась эта частичка «но», ибо когда выгоняли со двора, обязательно понукали ее, шлепая ладонью по спине: «Но, Зорька!»

Корова в крестьянском хозяйстве — это все равно что... То есть я даже не знаю, с чем это можно сопоставить, если брать, например, городскую семью.

Молоко в кашу, молоко в картошку, молоко в печево, беленый чай, беленый суп, творожишко, сметана, маслишко... Горло заболело — попей горячего молочка, обмякнет; живот заболел — попей молочка, размягчится; нет к обеду второго — кроши в миску

хлеб, заливай молоком — вот и еда; да еще молоко кислое, да еще молоко из погреба в сенокосную жару, когда на глиняной крынке, если внесешь ее в избу, появляются снаружи капельки студеной росы...

И домашняя живность тоже... Зашибет наседка цыпленка, сейчас нужно его попоить молочком, глядишь, и отудобит; не принимает овца ягненка, не подпускает к себе, к вымени, тотчас на бутылку надевается соска, и вот уж бегает за хозяйкой дома приручившийся на молочке окрепший ягненок. И в кошачью локушку, а кошка — законный житель крестьянской избы (и между прочим, не забава, не украшение, а работница), и ей в локушку тоже не воду будешь лить, а нальешь туда молочка. Отравился кто-нибудь грибами, того уж вовсе нужно отпаивать молоком.

Особенно важно молоко для ребятишек, что ползают почти в каждой избе. Никакого такого рыбьего жиру, или поливитаминов, или там витамина «А», смешанного с какао, или там специальных детских кухонь со стандартными бутылочками — ничего этого нет, и если остаются пряменькими, а не гнутся ухватиком ножонки у крестьянских детей, то главным образом молоко и выручает.

Вообще для человека из всех разнообразнейших продуктов питания: фруктов, мяса, всевозможных рыб, корнеплодов, овощей, мучных премудростей — из всего этого молоко является продуктом питания номер один.

Так вот однажды я проснулся от тревожной беготни и суеты в доме. Шли поиски длинного ножа, которым обыкновенно отец резал, если что-нибудь нужно было зарезать, какую-нибудь домашнюю живность. Нож, как видно, не находился, и брат предлагал свой складной ножик.

— Короток, мать честная! — сокрушался отец. — Ну да, может, достанет, давай этим.

Когда я окончательно проснулся и выбежал на улицу, то увидел, что возле крыльца лежит на боку необыкновенно раздувшаяся наша Нозорька. Сначала ей пытались складным ножом проткнуть правый пах,

но длины ножа не хватило, и тогда, видя, что спасти корову нельзя, перерезали мягкое ее горло, по которому, когда она, бывало, пила, вроде бы катились мячики.

Помню, когда разделывали Нозорьку и отрезали ей вымя, мать подставила бельевой таз, и отрезанное вымя в тазу все утонуло в молоке.

— Вишь, накопила уж, — вздохнула мать, — а давно ли доена.

Когда дошли до внутренностей, то отец царапнул ножом по брюшине, и брюшина вдруг лопнула, как чрезмерно надутый мяч, и в отверстие вместе со струей воздуха далеко полетели брызги полупереваренной пищи.

— Вот чего ей не хватало, — сказал отец, — а то, глядишь, отошла бы.

Но несведущим нужно, может быть, объяснить, в чем же состоит само бедствие. Дело в том, что если недосмотрит пастух и если коровы наедятся молодой клеверной отавы, а потом вскоре напьются воды, то их начинает пучить, раздувать изнутри, что приводит к гибели. Обыкновенно объевшихся коров начинают гонять бегом несколько часов кряду, не давая останавливаться, чтобы их протрясло. Иногда этой меры бывает достаточно, если спохватились не поздно, не в последний момент.

Более действенным считается пропороть ножом правый пах, чтобы достать до брюшины, но рану затягивает, зажимает изнутри, и газы сквозь нее не выходят.

В августе 1942 года, за день до ухода моего в армию, в селе объелось все стадо. Мужики на фронте, только мы с Васей Кузовым оказались поблизости да еще ветеринар. К этому времени наука придумала приспособление, а именно острую трубку с острым стержнем, вставленным в нее. Приспособление загоняют корове в пах, стержень вынимается, а сквозь оставленную в паху трубку выходит лишнее.

Но вот беда: трубка была одна, а коров объелось сразу множество. Мы наделали им в боках дырок, а затем с Васей Кузовым бросались с двух сторон,

с разбегу били в надутые бока кулаками. Баталия длилась полдня. Часть коров удалось отстоять, а часть пришлось прирезать.

Раньше потеря коровы была страшной катастрофой для крестьянской семьи. Но сейчас человек не один. Очень невезуча на коров оказалась Вера Балдова. У нее трижды объедались коровы, и каждый раз из колхоза приводили ей на двор телку, которая через год становилась молодой взрослой коровой.

Такая-то беда подкралась и ко двору Александра Федоровича и Антонины Кузьминичны — недоглядел пастух.

Скопив денег, они недавно купили новую корову, но хозяйка так отвыкла вставать в четыре часа утра, доить, поить, заботиться всю зиму о корме, что корова не прожила на новом месте и двух недель, была возвращена старым хозяевам под предлогом, что у нее не в исправности одна сиська.

Кроме облегчения хозяйке (нужно ведь еще каждый день в самые жаркие часы ходить наполдни, то есть либо на Красную гору, либо на Бугры, доить корову наполднях), был, наверно, сделан простейший расчет: корова сто́ит шесть тысяч рублей, сена приходится на зиму прикупить сто пудов по тридцать рублей за пуд. Значит, всего девять тысяч рублей. В колхозе молоко стоит рубль двадцать литр. На девять тысяч рублей можно купить семь с половиной тысяч литров молока. Ежели покупать шесть литров в день, то денег, истраченных на покупку и содержание коровы в одну только зиму, хватило бы на то, чтобы обеспечить семью молоком в течение полутора тысяч дней, то есть более чем четырех лет.

— А спокойно-то как, — рассказывает Антонина Кузьминична. — На рассвете пастух заиграет, спохватишься, вскочишь, но тут же вспомнишь, что не надо вскакивать, а можно отдыхать еще несколько часов, и так-то отрадно сделается на душе! Не трясись над коровой: как бы не заболела, как бы не объелась, как бы ей благая корова не испортила вымени.

Дело идет к тому, что все колхозники должны будут продать своих коров в колхоз и остаться бескоровниками. У этой проблемы несколько разных сторон.

На первый взгляд председателю какого-нибудь колхоза или директору совхоза могло бы показаться удачным за один день увеличить поголовье скота и таким образом за один день почти догнать Америку, то есть к ста, допустим, коровам колхозной фермы тотчас добавлялось бы сто коров, купленных у колхозников, и, значит, всего на ферме получилось бы уже двести коров. Каков процент роста! Но удобность эта была бы призрачной. Да, в сводках появились бы неожиданно крупные цифры, но ведь коровы эти не самозародились. Они всегда были тут же, рядом, в нашей же деревне, в нашем же районе, в нашей же стране. Молоко их не выплескивалось в реку, и мясо их не вываливалось в овраг на съедение волкам. Благом от этих коров пользовались наши же люди, и, таким образом, прибавление поголовья получилось бы, как я уже сказал, призрачным.

Другая сторона проблемы состоит в том, что разросшимся за последние годы колхозным стадам нужны все более обширные и упорядоченные пастбища, а тут нужно отводить угодья для коров колхозников; эти коровы колхозников путаются под ногами у растущего колхозного хозяйства, и лучше и спокойнее, чтобы их не было, чтобы все молочное хозяйство деревни было собрано в один мощный кулак.

Третья сторона проблемы состоит в освобождении деревенской женщины от забот по уходу за коровой, от прокормления ее, в высвобождении большого количества времени.

Но у проблемы могут быть и иные стороны. Недавно Павел Иванович — колхозник из соседнего села — при обсуждении коровьего вопроса мне заявил:

— Мало ли что, а я люблю, чтобы молоко у меня в хозяйстве было вольное. Я люблю прийти с косьбы

да сразу крынку и выпить. Я его, молоко-то, в жару вместо пива пью. Вы там, в городе, пиво да разные лимонады, а я молоко с погреба. Как поставит Любаша крынку на стол, так сейчас крынка эта начнет снаружи потеть, покрываться светлыми капельками. Размешаешь ложкой, если успело настояться, да и выпьешь всю крынку. Так что вы меня в молоке не ограничивайте, не хочу...

Лично меня с самого начала занимала именно эта сторона проблемы, а не ее экономические стороны, которые были мне с самого начала ясны. В самом деле, как быть, если колхозник не хочет? Прекраснее всего, что в ответ на нехотенье миллионов колхозников партия ответила статьей «Вредная поспешность в решении важной проблемы», напечатав эту статью в центральном своем органе, то есть в газете «Правда».

* * *

...Одноэтажный кирпичный дом. Стоит на прогоне. Некогда главой семьи этого дома был седобородый старик Николай Петрович, которого я хорошо помню. По этому старику у семьи существовала вторая деревенская фамилия — Николай-Петровы, и прогон, ведущий к реке, тоже назывался Николай-Петров прогон.

Семья распалась: Николай Петрович и тетя Анна померли, два сына — Виктор и Василий — погибли на войне. Виктор не успел жениться, уходя на фронт, а после Василия осталась молодая, в цвету и силе вдова Глафира, а также мальчонка Шурка. Постепенно все с Николая Петровича перешло на Глафиру, то есть дом стал называться Глафирин, и Шурка — Глафирин, и прогон — тоже Глафирин.

Глафира долгие годы вдовствовала в одиночестве. Сейчас семья состоит из трех человек: Николай Васильевич работает в колхозе возчиком молока, Глафира — рядовая колхозница, Шурка — учетчик в полеводческой бригаде и, кроме того, помогает Николаю Васильевичу канителиться с молоком на фер-

ме. То и дело двухколесная таратайка, нагруженная сверкающими на солнце тяжелыми флягами, курсирует между Олепином и Черкутинским молокозаводом. Кто-то на дощатом задке таратайки мелом крупно написал, скопировав с колхозной полуторки: «ВУ-26-11»—в чем, несомненно, проявился природный юмор писавшего. Может быть, это сделал сам Шурка, парень тихий, но с какой-то доброй голубой лукавинкой в глазах.

* * *

...Хозяин дома, Дмитрий Федорович Московкин, глухой рыжебородый старик, помер давно; тетя Поля плоха, ноги не ходят, иногда под руки ее выводят на лужайку подышать воздухом; сыновья Василий и Виктор — оба погибли на войне: один, отделившись и уйдя на войну из собственного дома, от своей семьи, другой, не успев не только что жениться, но и вообще погулять с девками; дочери Мария и Шура вышли замуж: одна—на сторону, другая—приняв «во двор» Сергея Тореева. Дом этот теперь, по существу, не Московкин, а Тореев. Сергей Тореев — рядовой колхозник, Шура — тоже рядовая колхозница. У них есть несколько маленьких ребятишек, все дошкольного возраста.

* * *

...В домике, обшитом пожелтевшим тесом, покосившемся и вросшем наполовину в землю, доживают свой век одинокие бездетные старики — Иван Дмитриевич и тетя Агаша Рыжовы. Помню, что тетя Агаша считалась лучшей жницей, когда еще жали серпами. Иван Дмитриевич лет пятнадцать или двадцать подряд сторожил село, ходил ночью с палкой и выбивал часы в маленький колокольчик, нарочно оставленный в селе и висящий теперь уж не на колокольне, а на высоком столбе возле пожарницы. Ни Иван Дмитриевич, ни тетя Агаша не работают в колхозе по старости.

* * *

...Кузьма Васильевич (который брался вытесать из бревна пропеллер) помер весной в преклонных летах. Тетя Марья очень стара, в колхозе, конечно, не работает. Сыновья: Михаил живет в городе Балахне; Анатолий — шофер в Черкутинском совхозе; Дмитрий — шофер в Москве; дочери: Капа, Варя, Шура, Нюра, Надя — все повыходили замуж и живут кто в Москве, кто в Коврове, кто по окрестным деревням. Жить бы тете Марье в доме одной, если бы не попросилась на квартиру молодая фельдшерица Шура Светлова.

Она живет у тети Марьи заместо дочери, занимая одна всю переднюю горницу, в которой размещалась некогда большая семья. В горнице сохраняются та чистота и тот уют, по которым сразу можно узнать, что тут живет молодая девушка, а не какой-нибудь застарелый холостяк. На вымытых до белизны полах узкие нарядные половики; листья фикусов и других цветов без признаков пыли, бревенчатые стены янтарно-желты. На столе, постланном свежей скатертью, недоконченная вышивка.

Во второй избе, то есть на кухне, владения тети Марьи. Русская печка, скобленый, чистый стол, хоть и насквозь пропитанный маслом за долгие годы, тяжелая лавка, ведро на ней с холодной водой, самовар около печки на полу, под потолком дощатая полка для посуды с ситцевыми занавесочками.

Младший из сыновей тети Марьи, а именно Дмитрий, уехал на сторону позже всех. Не следовало бы мне забегать вперед, ибо историю нашего колхоза я хочу рассказать в своем месте, но если уж зашла речь, то надо вспомнить, что первые годы после войны Дмитрий был некоторое время председателем нашего колхоза. Он председательствовал год или полтора, вплоть до объединения. Когда все деревни кругом Олепина объединили в одно большое хозяйство, то председателем стал уж не Дмитрий, а другой, более пожилой, опытный человек — Александр Павлович Павлов из Прокошихи. Дмитрия сделали заместителем Павлова. Тогда-то он и уехал в Москву.

* * *

...Иван Григорьевич помер несколько лет назад; тетя Поля не работает в колхозе по старости; сын Василий живет на стороне; сын Александр работает налоговым агентом; сын Борис погиб на войне; сын Геннадий живет в Москве; дочь Зоя окончила курсы дезинфекторов и теперь работает в Черкутинской больнице; жена Александра Ивановича Нюра — рядовая колхозница; дочь Тамара работает в Черкутине в психдоме (так попросту называют у нас дом инвалидов-психохроников); девочка Светлана учится в пятом классе; сын Вова пойдет в школу.

У Зои есть сын Гурий (Гурка) — хороший мальчишка, который остался, однако, без отца, затем что отец обманул и бросил Зою, не успев жениться. Зоя решила сохранить ребенка во что бы то ни стало. Главная личная жизнь ее сейчас, по-видимому, вся в нем, хотя по возрасту и по виду ей теперь еще гулять бы на вечеринках вместе с девушками.

Александру Ивановичу по характеру работы налоговым агентом (кажется, скоро ему придется менять должность: налогов становится все меньше и меньше, и должны они будут исчезнуть совсем) приходится много ездить по деревням, у него есть даже казенная разъездная лошадь. Летом он ездит на ней верхом, а зимой запрягает в саночки.

Однажды, пробираясь в село по весенней распутице, я встретился в Черкутине с Александром Ивановичем, и он радостно согласился подвезти меня до Олепина. Перед тем как ехать, мы зашли в чайную и пробыли там никак не больше пяти-семи минут. Несмотря на такой короткий срок пребывания в чайной, настроение у Александра Ивановича еще улучшилось, да и мне стало казаться, что я ехал из Москвы не столько в родительский дом, сколько для того, чтобы встретиться с Александром Ивановичем. По дороге к Олепину Александр Иванович окончательно впал в сентиментальное настроение. Причиной тому скорее всего были наши разговоры. Мы разговорились о том, что маленькие лесочки около

Олепина, как-то: Осинничек и Попов лесок, — почти начисто сведены неразборчивой, безответственной и бесхозяйственной рубкой на дрова и что народ добрался уж до кладбища, чего никогда не бывало да и быть не могло.

А так как за целое дерево можно было попасть под штраф, то сначала у кладбищенских сосен стали обрубать все сучья. Деревья превратились в ужасные, полуживые столбы. Это делалось еще и для того, чтобы дерево посохло, а за сухостой никакого штрафа не полагается. Правда, есть хитрые и тонкие способы засушить дерево, как-то: обтесать около корня кору, обхватив дерево мертвым кольцом, или даже (артистическая тонкость) обстучать кору обушком, она отсохнет, отойдет от древесины, омертвеет на обстуканном месте, и дерево незаметно начнет чахнуть. Олепинцы, как видно, не знали таких тонкостей или им было некогда, и они действовали несколько грубоватее: смахнут все сучья с дерева — и дереву конец.

Александра Ивановича расстроило не сведение Осинничка или Попова леска и даже не обезображение сельского кладбища, а расстроили его ветлы по реке, вернее, их исчезновение в течение одной зимы.

Это были первые послевоенные годы. Дела в колхозе шли плохо. Колхоз не мог обеспечить людей хлебом, потому что весь его нужно было сдавать государству. Не мог он обеспечить их и дровами, потому, по всей вероятности, что было тут не до дров. Пришла зима, и люди с салазками и топорами потащились тайно и явно в окрестные лесочки и даже нашли дорожку к реке. Ольховые кусты, которыми заросла речка, мало интересовали озябших мужиков (чаще, впрочем, ездили за дровами женщины), но старые, пышные, золотистые весной и зеленые летом ветлы вполне годились на дрова.

Когда мы выехали на Курьяновскую гору и оказалась под нами и влево и вправо извилистая ленточка реки, я спросил у Александра Ивановича, куда подевались ветлы, десятилетиями украшавшие долину, и что это за большие темные пятна на снегу.

Александр Иванович начал рассказывать злоключения этой зимы, и чем дальше рассказывал он, тем больше трогал его свой собственный рассказ.

— Вова, нету моего выражения! — воскликнул он наконец. — Ведь ветел-то осталось наперечет, давай-ка посчитаем. — Он остановил лошадь, и мы, не торопясь, обстоятельно начали считать ветлы. — Вон уцелела ветла, где кончается кладбище, да на повороте ветла, да одна ветла под Курьянихой, да одна под Лоханкой. Вова, вот что я тебе скажу: нет моего выражения!

И пьяные, а может, и не такие уж пьяные, слезы он размазывал время от времени суконной варежкой по лицу, обожженному морозами за зиму, на смену которой шла теперь весна: на исходе был март, а за ним, наступая ему на пятки, торопился апрель с его ручьями, с его весенним половодьем, призванным унести подальше мелкие сучья, оставшиеся от рубки ветел, и тем самым как бы омыть раны земли.

Однако спустя некоторое время после весны, как правило, снова наступает зима, снова нужно топить усиленно печки и лежанки. Какие же меры могут спасти те небольшие лесочки, которые растут обыкновенно около сел и деревень? Ни штрафы, ни даже, если бы вдруг додумались, проволочные заграждения не могли бы прийти на выручку. Средство единственное и очень простое.

Сейчас, когда колхоз оснащен самой совершенной техникой, как-то: автомобилями и гусеничными тракторами, не говоря уже про тех же лошадей, — дровяное благополучие колхозников зависит только от колхоза. На отведенных государством делянках в больших лесах зимой колхозники заготавливают дрова, то есть валят деревья и разрезают их на бревна одинаковой длины. Колхоз перевозит бревна в село, и, таким образом, все оказываются с дровами, и нет нужды рубить сосны на сельском кладбище или уничтожать ветлы по реке.

Рассказывают, что Дмитрий Бакланихин, будучи председателем, делал себе поленницу не больше и не меньше, чем у остальных, и по ней судил, сколько

дров осталось еще у колхозников: кончается поленница у Дмитрия, значит кончается и у остальных, значит надо думать снова о дровах.

Итак, судьба окрестных небольших лесов зависит, оказывается, не от топора колхозника, а единственно от заботливости и своевременных действий председателя.

Мать Александра Ивановича тетя Поля, седовласая энергичная худощавая старуха, всю жизнь была немного артистка. Мне сдается даже, что артистические способности у нее были незаурядные, только что разве не получили должного развития. Я не знаю в подробности тех спектаклей, которые случались в стенах их дома, но зато я видел тетю Полю на сельских складчинах, в самых разнообразных, естественных сценках.

Придешь ли в деревню и пройдешь ли мимо тети Поли, сидящей на лавочке возле дома, тотчас она запричитает, сопровождая причитания живой и яркой мимикой:

— Володенька, миленький, уж как мы всегда рады, как мы рады, когда ты приедешь, уж как мы тебя заждались, уж как мы по тебе соскучились, как мы тебя любим, да как хорошо, что ты нас не забываешь! Уж ты всегда приезжай к нам, миленький, а уж мы тебе так рады!..

Бьюсь об заклад, что целый год тетя Поля и не вспомнила о моем существовании, я знаю про это, и она сама знает, но игра настолько вдохновенна и, главное, настолько совершенно бескорыстна, что как-то вроде бы даже и поверишь.

Однажды тетя Поля попросила, чтобы я сфотографировал ее на могиле мужа. В назначенный час вдова оделась во все черное, и мы пошли под Останиху. Она оживленно разговаривала со мной о всякой всячине и даже продолжала разговаривать, когда уж присела на сирый, бескрестный холмик, чуть-чуть впереди сосны с обрубленными доверху сучьями, но стоило мне навести аппарат, как женщина преобразилась. Она склонила голову набок, подперла ее рукой, лицу придала необыкновенно скорбное

и печальное выражение, так что никакому режиссеру не добиться бы той степени естественности и той пластичности в фигуре скорбящей женщины в черном, сидящей на могиле мужа.

Впоследствии мне случилось показать эту фотографию поэту Леониду Мартынову. Волосы, казалось, зашевелились у него на голове от возбуждения и восторга. Я говорю об этом так прямо потому, что тут нет и капли моей заслуги как человека, щелкнувшего затвором камеры, но главная, единственная заслуга принадлежит тете Поле. Я и сам считаю, что если бы живописец захотел написать скорбь, то за основу он смело мог бы взять элементы этой фотографии: могильный холмик, женщину в черном, обрубленную сосну и серые осенние облака на заднем плане...

* * *

...В этом очередном доме до недавнего времени жила семья из трех человек: Александра Григорьевича, родного брата тому Ивану Григорьевичу, на могиле которого мы только сейчас побывали, тети Дуни и красивой, веселой, с большими серыми глазами девушки Раи.

Александр Григорьевич помер, что называется, во цвете лет от кровоизлияния в мозг. Он был председателем ревизионной комиссии, и голова его однажды не выдержала ревизии колхозных дел; тетя Дуня и Рая некоторое время пожили одни в Олепине, потом Рая уехала в Москву и устроилась там работать не то машинисткой, не то секретаршей, не то и тем и другим сразу; со временем и тетя Дуня переехала к дочери. Рая вышла замуж за китайца, советского подданного, и теперь у них растет смуглая черноглазая китаяночка.

Не так давно в центральном радиовещании создавалась большая композиция «Музыка родной земли», то есть речь шла о музыке нашей Владимирщины. В композиции участвовали и рожечники, и балалаечники, и гармонисты. Кроме того, там нужно было петь частушки на мотив «елецкого». Я, не об-

ладая музыкальным слухом, никак не мог передать работникам радио правильный мотив и верную манеру исполнения частушек, и все мы пришли в отчаяние, как вдруг мне вспомнилась Рая — лучшая певунья и плясунья во всей Олепинской округе. Сейчас же я разыскал ее телефон и передал кому нужно. Потом мне рассказывали, что Раю удалось уговорить, она приходила на радио и показала-таки московским артистам, как надо петь «елецкого». Вероятно, что она показала и гордую свою выходку и прошла дробью, да еще не было ее подруги и соседки Зои, постоянной партнерши по танцам и такой же голосистой, как Рая, а то получился бы на радио настоящий концерт.

Будто бы артисты советовали Рае бросить канцелярию и переходить в их ряды. Но скромная девушка получила гонорар «за консультацию» и поспешно ушла заниматься своим делом.

Недавно Рая вселилась в новую комнату или даже квартиру, в которой живет и тетя Дуня. Она работает лифтершей. Деревянный домик свой они продали Ивану Сергеевичу Патрикееву из Курьянихи, обновившему старый дом, обившему его тесом и покрасившему крышу красным, стены голубым, завалинку зеленым, наличники желтым.

Иван Сергеевич — плотник и работает в колхозе исключительно в плотницкой бригаде; жена его Нюра — колхозный кассир; сын Виталий — шофер, живет в Москве.

* * *

...Андрей Михайлович, высокий (около двух метров), худой, горбоносый старик, с рыжими, свисающими вниз усами, знает столярное ремесло. С первых же дней не захотел работать в колхозе и уехал в Москву, где состоял таким мастеровым — и стекла вставлять, и стул починить, и водопроводную трубу — при домоуправлении на улице Кирова. Я бывал у него несколько раз по разным делам и удивлялся, зачем он просторную деревенскую избу со своей старухой — тетей Аграфеной, — с садом, ого-

родом, травяным залогом и сосновым лесочком на задах променял на одинокую жизнь в подвальной комнатенке — шесть или восемь квадратных метров внутри каменного колодца городского двора. Однако Андрей Михайлович прожил в упомянутой комнате с грязными обоями, с газетой, постланной на столе и обыкновенно в черных пятнах от чайника или кастрюли, до самой последней старости и лишь недавно вернулся в село, потому что стал замечать тяжесть в желудке, безразличие к еде и частые приступы тошноты.

Старший сын Андрея Михайловича, Василий, был убит в деревенской драке; сын Иван потерял на войне ногу, живет под Москвой; дочери Наталья и Надежда вышли замуж, живут в Москве; младший сын, Юрка, остался фактическим хозяином дома. Он женился на «медичке», то есть на заведующей Олепинским медпунктом Люсе, и теперь у них растут две девочки. Когда Юрке говорят: «Что же ты, Юрка, ослаб, все девочки да девочки?» — он отвечает: «Были бы девки — парни сами под окна придут».

Вообще у него от природы бьется в мозгу какая-то острая жилка. Однажды во время долгого перекура возле сенного сарая мы все начали дремать на солнышке, как вдруг в селе сильно ударил колокол, приглашающий на обед. Юрка мгновенно вскочил, как бы испугавшись чего-то, и выпалил:

— Эх, черт возьми, чуть не по голове!

Сказать про резкий звук колокола, что он чуть-чуть не попал по голове, дано, конечно, не всякому.

В другой раз он говорил про Ивана Дмитриевича, шутя в присутствии самого же Ивана Дмитриевича:

— Ты его не слушай, он все врет, все врет, только и правду скажет, когда ошибется.

Юрка, мой сверстник, дальше четвертого класса учиться не захотел. С замиранием сердца возился с лошадьми и постепенно втянулся в серьезную работу в колхозе. В нем около двух метров росту и, несмотря на худобу, более ста килограммов веса. Поэтому естественно, что в армии он работал молотобойцем.

Теперь он тракторист, в праздники много пьет, не закусывая, отчего быстро хмелеет. Впрочем, как бы пьян и как бы силен он ни был, Люся живо находит на него управу, и он делается как шелковый.

Люся приехала в Олепино по распределению из медицинского техникума. Здесь и нашел ее Юрий, или она нашла его — в этом всегда бывает трудно и даже невозможно разобраться.

Я упоминал, что старший брат Юрия, Вася, убит в деревенской драке. Вот что можно рассказать по этому поводу.

Оромантизированных и опоэтизированных драк «стенка на стенку», когда дерутся чистым кулаком, а лежачего не бьют, у нас никогда не было, а было нечто другое. Я рад и счастлив, что теперь в общем-то почти на сто процентов можно говорить об этом в прошедшем времени, употребляя слова «было», «была», «были» и т. д. Из всего, что невольно унаследовала новая Россия от старой, это было едва ли не самое отвратительное наследие, потому что нет ничего хуже, дичее и гаже, когда человек бьет другого человека, а тем более когда несколько человек бьют одного. Это был тоже прах, который, прилипнув к нашим ногам, долго не хотел отряхаться, но который в конце концов не мог не остаться позади. Однако вот как происходило дело.

Живут по окрестным деревням парни как парни, работают, при встречах здороваются друг с другом, угощают друг друга куревом — ничего не скажешь плохого. Но вот пришел престольный праздник, и по этому поводу массовое гулянье.

С утра, пока еще все трезвые, все тихо и благополучно в селе. Ходят большими партиями девушки и поют песни. Парни ходят отдельными партиями и тоже поют песни. Или соберутся все вместе в круг и танцуют. Все идет хорошо.

Часам к четырем дня атмосфера начинала сгущаться, в воздухе пахло бедой. Вот уж вся «Ворша», то есть парни из деревень, расположенных по реке, собрались в кучу и ходят как бы отрешенные,

как бы уж решившись на что-то и оря благим матом воинственные частушки, как-то:

Наша шайка, шайка-лайка,
Пачка ржавленых гвоздей.
Кто навстречу попадется,
Пробьем шею до костей.

Шире, улица, раздайся,
Шайка воршинских идет.
Атаман в гармонь играет,
Шайка песенки поет.

Тут могли следовать частушки, направленные на сплочение упомянутой шайки:

За товарища сыграю,
За товарища спою,
За товарища оставлю
Буйну голову свою.

Расколись, моя перчатка,
От удара пополам.
Режьте тело мое бело,
Бить товарища не дам.

Чтобы еще больше взвинтить, разгорячить и даже разжалобить себя к самим же себе, как бы уже избитым и порезанным, пелось следующее:

Открывай, отец, ворота,
Сын порезанный идет.
Грудь пропорота кинжалом,
По рубахе кровь течет.

Ну пускай, пускай порежут
И положат в уголок.
Наревешься, дорогая,
У моих холодных ног.

Нате режьте, нате режьте,
Нате режьте на куски.
Не капуста мое тело,
Не повалятся листки.

Затем, чтобы потрясти возможного противника, не исключено было восхваление своего оружия:

Мой кинжальчик первый номер,
Позолоченный носок.
Кто олепинских затронет,
Припасай на гроб досок.

Когда по селу начинала ходить такая воинственная ватага, то примерно все знали, кого собираются бить: олепинских, спасских или калитеевских, — и воинственность одной стороны тотчас вызывала сплочение и готовность к бою другой. Если же оказывалось, что бить некого, допустим, потихоньку ушли спасские или калитеевские парни, то накопившаяся энергия все равно просила выхода, а тут попадался какой-нибудь случайный смирный парень, идущий с девушкой...

Драки эти были отвратительны своей трусливостью и, я бы сказал, непорядочностью. Старались сзади, врасплох сшибить с ног человека.

Итак, начинала сгущаться атмосфера. Но посмотришь вдоль села, и пока все как будто в порядке. Впрочем, вот в том конце послышался шум, крики, со всех концов празднично, ярко одетые люди бегут в одно место, образуя толпу, в центре которой взметаются вверх кулаки. Это первая стадия драки. Вскоре послышится женский визг, и толпа хлынет в разные стороны: значит, показалась кровь и происходит там то, на что нельзя смотреть без содрогания: либо кого убили, либо добивают смертным боем.

Нужно сказать, очень хорошо, самоотверженно вели себя в таких случаях деревенские девушки. Увидев, что бьют «залетку», то есть того парня, с кем гуляет девушка, она бросалась в самую гущу драки и висла на шее у любимого, чем, однако, чаще всего приносила ему вред, так как связывала его движения. Но случалось, удавалось девушке вытащить парня из драки и увести его.

В памяти моей хранится множество виденных случаев зверств и дикости во время пьяных престольных драк.

Но не было случая жесточе и страшнее, чем случай с Васей, происшедший еще в 1933 году.

Васька и Тошка были два олепинских парня. Один из них, Васька, брал силой, а другой, Тошка, хитростью. Вкупе они были непобедимы.

Рассказывают, что Васька был великан и краса-

вец: чернокудрый, лицо белое, зубы белые и ровные, в плечах — косая сажень.

Вскоре вся округа была терроризирована олепинскими хулиганами. Как только они входили в прогон села, гулянье разбегалось. Парни запрыгивали в окна, прятались в садах и огородах. Однажды Ваську вместе с другими парнями посадили в каталажку, но драка продолжалась и там. Тошка в это время бегал вокруг с ножом и кричал: «Пустите меня в тюрьму, там Ваську бьют!»

Потом Тошка пырнул ножом смирного, доброго парня, и его услали в Сибирь. Васька остался один. Семь деревень сговорились покончить с Васькой.

В колхозе «Зеленый лужок» справляли свадьбу. Уже ходили слухи, что Ваське грозит опасность, но он не захотел показаться трусом и пошел на эту свадьбу. Ему поднесли литровую кружку водки. Он выпил ее залпом, а когда вышел в сени, кувалдой стукнули его по затылку. Он упал, поднялся и побрел домой. Вслед ему полетели колья, доски, камни. Одну доску он поднял, и нашлось еще силы бросить ее в толпу и сшибить ею двух или трех человек. Кто-то подбежал и ударил колом по поджилкам. Гигант рухнул. Тогда налетела толпа. Это было возмездие.

Потом все разбежались. С одиннадцати вечера до шести утра Васька лежал на траве и... жил. В шесть утра помер. На нем насчитали несколько десятков ран, некоторые были сквозные.

Тошка вернулся из Сибири четыре года спустя с красавицей-сибирячкой, которую звали Агнеса. В полтора раза крупнее всех наших деревенских женщин, она ходила по селу, как царица, а Тошка, теперь уж Анатолий Кузьмич, играл ей на гармони...

* * *

...Александр Иванович — пожарный инспектор; тетя Клавдя — уборщица на медпункте. Когда я был маленький, у них росли две очаровательные девочки, которые обе в один день умерли от скарлатины. Я помню об этом, как о первом чужом горе, которое

дошло до моего детского сознания. В то время мне казалось, что раз случилось такое несчастье, то, значит, у них уж больше и не будет детей. Однако теперь у Александра Ивановича и тети Клавди растут три сына: Виктор, Виталий и Шура. Все учатся в школе (старший — в восьмом классе), а дочь Липа работает в Ставрове на заводе, кажется, лаборанткой.

Ежедневно подметая в медпункте, или моя полы, или вытирая пыль, может быть, тетя Клавдя вспоминает своих девочек, навсегда оставшихся маленькими, и думает о том, что если бы тогда был медпункт в Олепине и работали в нем фельдшерица Люся и ее помощница Шура Светлова, то, может быть, не померли бы ее девочки.

Медпункт — невесть какое солидное медицинское учреждение: наиболее распространенные лекарства самой первой необходимости, шприцы для уколов, перевязочные средства, — но все же не нужно бежать по всякому случаю в Черкутино, в больницу.

Иной раз ночью, в устоявшейся тишине, вдруг раздастся на все село громкий стук в наличник окна, — значит, подкравшись, распрямилась над чьим-нибудь изголовьем костлявая, с косой в руках старуха, и вот стучат в окно к Люсе или Шуре. Деревенский человек не будет тревожить доктора по пустякам. Должна вскакивать с постели Люся и бежать к больному, и знать, и чувствовать, что здесь, в ночном селе, ни помощи, ни поддержки ждать неоткуда. И борьба ее за жизнь того или иного олепинского жителя есть единоборство.

Может быть, кто-нибудь посчитал бы роскошью медпункт для маленького села и окрестных деревенек, в то время как до больницы четыре километра, но я знаю, что люди в Олепине живут спокойнее оттого, что в каждую минуту дня и ночи можно постучаться и позвать или Люсю или Шуру.

* * *

...Тетя Марья Постнова не работает в колхозе по старости. Из многочисленных детей ее с ней живет теперь младший сын, Виктор. Он работает завскла-

дом в колхозе; жена Виктора, Катя, — счетовод в правлении колхоза; девочка Лида учится в четвертом классе.

Дочери тети Марьи — Нюра, Настя и Надя — все вышли замуж и живут в окрестных деревнях. Сыновья — Андрей и Михаил — отделились. Андрей погиб на войне.

* * *

...Дом Андрея Ивановича Постнова. Сейчас вижу этого спокойного, степенного, медленно разговаривающего лысоватого мужика, идущего с вожжами на конный двор. Знаю вдову после него — тетю Любу, худую, темно-смуглую женщину, которой довелось отработать в своей жизни за пятерых мужчин, пока вырастила сына и дочерей. Помню, когда женился Андрей Иванович. Потому осталось это в памяти, что, будучи совсем маленьким, вместе с народом пошел за околицу встречать свадебный поезд, а поезда все не было и не было. Я промерз насквозь, и именно ощущение холода осталось в памяти.

Въезд в село тогда перегородили веревкой, чтобы взять с жениха на водку по какому-то там старинному обычаю, но кучер попался лихой и уж выпивший, кони в красных и зеленых лентах разнеслись, прорвали заграждение, раскидав в снег людей, которые собирались их остановить. Мелькнули у меня в глазах какие-то сундуки на санях, обитые железом, и все исчезло. Еще разговор помню, что невеста-де очень молода, хороша и работяща, то есть это про тетю Любу шел разговор.

О первых двух качествах сейчас судить не берусь, а что работяща — оправдано всей ее жизнью. Теперь она работает в колхозе дояркой; дочь Зоя — тоже доярка; дочь Валентина — ткачиха на Собинской фабрике; дочь Капа окончила десятый класс, осталась работать в колхозе; сын Юрий работает на заводе во Владимире; сын Александр служит в Советской Армии.

* * *

...Здесь живет брат Андрея — Михаил Иванович Постнов, плотник; Вера Ефимовна — рядовая колхозница; сын Николай работает в Ставрове на заводе «Автонасос»; сын Шура был прицепщиком, на днях проводили в армию.

Вера Ефимовна — женщина ловкая и работящая, ничего не отобьется от ее рук. Одно время спустили сверху план: посеять столько-то гектаров кок-сагыза, и возделывать его впредь, и сдавать государству. Я уж и не знаю, сколько лет бились с этим кок-сагызом, ибо культурой он оказался очень трудоемкой. Нужно было мотыжить и перемотыживать его в самую жаркую и рабочую пору лета. Дарья Кузова — жена кузнеца — даже частушку сложила:

Надоела нам мотыга,
Надоел нам кок-сагыз,
А еще больше надоело... —

но тут шла такая, пусть и не лишенная остроумия нецензурщина, что я воспроизвести ее не берусь.

И вот мотыжили этот кок-сагыз, мотыжили, думаю, лет не пятнадцать ли, а толку так и не добились.

Наконец Вера Ефимовна осерчала: «Ах, черт его дери, надо хоть узнать, что это за кок-сагыз и какой он бывает, а то помрешь и не поглядишь!»

Она возделала у себя в огороде грядку, засадила ее кок-сагызом, и вырос у нее кок-сагыз, какой он должен быть на самом деле, и все колхозники ходили к ней и любовались: так вот он, оказывается, какой бывает!

* * *

...Едва ли не самый хороший, высокий, со светелкой, сложенный из неохватных бревен, покрашенных в желтую краску, с кудрявой липой под окнами, дом Петра Семеновича Патрикеева. Петр Семенович и его жена Марья Егоровна померли, единственная дочь Шура живет в Москве (пенсионерка).

Шура продала деревенский дом (за девять тысяч) вместе с огородом, садом, колодцем и отличной баней, стоящей в саду, Василию Михайловичу Жирякову из Зельников.

Василий Михайлович — бригадир колхоза по Олепинской бригаде — мужик с характером, крутой, так что все его слушаются и даже побаиваются; жена его Лида до последнего времени работала продавщицей в нашем Олепинском магазине; сыновья: Коля, Юра и Шура — все учатся в школе (старший — в шестом классе).

* * *

...Здесь жил единственный в селе настоящий шорник Василий Егорович с женой своей Евленьей. Оба теперь под Останихой *. Дом перешел к сыну шорника — Николаю Васильевичу, который ушел к вдове Глафире. Вера Никитична, оставленная им жена, живет в доме одна. В колхозе не работает: пенсионерка по инвалидности. Дочь ее Нюра вышла замуж в другую деревню.

* * *

...Василий Васильевич — высокий, чаще всего босой старик, с курчавой нерасчесанной бородой, в которой всегда торчали какие-то соломинки, — помер. От него остался в моей памяти один эпизод, который в свое время глубоко затронул детскую душу и заставил задуматься. Дело происходило, очевидно, в первые дни существования колхоза в нашем селе. Большинство крестьян отдали свои сараи, где хранили сено, в колхоз, отдал свой сарай и Василий Васильевич. Однако, отдавая, мужики как-то, видимо, не были убеждены, что сараи теперь, и правда, стали не их. Казалось все это им какой-то игрой, а сарай... так что же, как стоял, так и стоит на своей усадьбе.

* Так называется место, где с давних пор расположено наше кладбище, хотя правильнее его было бы называть не под Останихой, а над Останихой, ибо Останиха стоит внизу горы, за речкой.

Что дело обстоит именно так, лучше всего доказывает поступок Василия Васильевича.

Через несколько дней после обобществления колхоз решил сарай Василия Васильевича зачем-то перетащить на новое место. Уж начали сдирать железо с крыши, когда огромный, медведеподобный, нечесаный мужик увидел, как рушится построенное собственными руками. Тогда он, до ослепления уязвленный происходящей, на его взгляд, вопиющей несправедливостью, схватил топор и, приставив лестницу, бросился на ломающих.

— Да как же! — увещевали Василия Васильевича некоторое время спустя, когда вспышка окончилась. — Ты заявление в колхоз писал? Писал! Ты сарай в колхоз на общее пользование отдавал? Отдавал! Чего ж ты теперь хочешь?

Мужик смотрел вокруг недоуменным взглядом и молчал, как бы чего-то не понимая. Сарай, конечно, разломали и увезли.

После Василия Васильевича остались два сына: Панька и Петяк. Это были здоровые, крупные парни, хотя считалось, что природа забыла или не успела положить на них по какому-то завершающему штришку. Долгое время братья не могли жениться затем, что боялись гулять с девками или, может быть, девки не хотели гулять с ними (мешала репутация). Родители решили однажды оженить сразу обоих. Нашлись свахи, нашлись и невесты. Чтобы избежать лишних расходов, свадьбу играли за один стол. Парни отнеслись к женитьбе со всей серьезностью. Будучи вездесущими мальчишками, мы видели, с какой обстоятельностью приколачивал Петяк большой железный крючок к чулану, в котором ему предстояло провести первую брачную ночь. Мы поняли это по-своему: наверно, он боится, чтобы невеста от него не убежала.

Павлу досталась хорошая, работящая, серьезная женщина. Она взяла его в руки, и жизнь их определенно наладилась бы, если бы не помешала война. С войны Павел не вернулся.

Петяк, напротив, сквозь войну прошел невредимым, и вскоре у него один за другим стали появлять-

ся детишки. А так как первостепенной заботой жены его Нюры (удивительно подошли они друг к другу!) было родить, а все остальное она считала малосущественным, то детишки росли исключительно на жаркой и душной печке, сначала завернутые в тряпье, а впоследствии ползая по печке голышами. Впрочем, на пол им спускаться было никак нельзя, потому что на полу зимой в этом доме замерзала в ведрах вода.

Никак не ладилось с хозяйством у Петра Васильевича. При всем том он не терял не только присутствия духа, но и даже добродушного расположения.

Если не очень сытен весь год, то каждому известно, что весной наступает самое трудное время. Вот почему нас, меня и моего товарища, приехавшего со мной в Олепино на каникулы, особенно растрогал Петр Васильевич весной 1947 года. Мы пилили дрова на задворках, где уж сильно пригревало солнце, хотя лежал снег, весь золотой снаружи и темный в глубине, ибо набряк водой. Сила играла в нас, начинающих отвыкать там, в студенческом общежитии, от здоровой мускульной работы. Пила сытно вгрызалась в древесину, желтые душистые опилки густыми струями брызгали на обе стороны, поленья одно за другим отваливались с козел, и нам было жарко, несмотря на то, что мы сбросили телогрейки, оставшись в одних рубахах. За этой работой застал нас Петр Васильевич. Он появился неожиданно, весь освещенный солнцем и чрезвычайно живописный в своем наряде. Ватный пиджак его был туго-натуго подпоясан широким солдатским ремнем, и только этот ремень, казалось, и мешает пиджаку тотчас рассыпаться на тысячу мелких ватных и тряпичных лоскутков. Если бы сто кошек в течение дня драли пиджак острыми своими когтями, и то он, наверно, не стал бы свисать таким невероятным множеством лоскутков, бог знает какой силой держащихся друг возле друга. Штаны были цельнее, зато валенки вполне гармонировали с пиджаком.

При всем этом Петр Васильевич весело сунул нам по очереди свою заскорузлую коричневую ладонь и тотчас попросил закурить. Мы курили тогда самосад,

одни листочки, так что даже такой прожженный курильщик закашлялся от первой затяжки и кашлял долго, не забывая сквозь кашель говорить:

— Эх, ядрена матка! Вот это табачок!.. Ничего... До кишок продирает!

Петр Васильевич мог прийти и за одним тем, чтобы закурить, но чувствовалось, что есть у него еще и иное дело. А так как человек он не из робких и не из стеснительных, то тут же мы узнали, в чем это дело состояло.

— Ты, понимаешь, нет ли у тебя гвоздочков десятка полтора?

«Ну вот, — мелькнуло у меня в голове, — а говорили, Петр Васильевич не хозяйственный мужик. Вишь, гвозди понадобились, чего-нибудь поправит там у себя дома, приколотит какую-нибудь доску или починит, наконец, расшатавшуюся дверь, через которую проникает в избу уличный холод».

— Да зачем тебе гвозди, для какой цели? Я выберу те, какие больше подходят.

— Как зачем? Что мы, не люди, что ли? Чай, весна идет, надо бы сделать пару скворечен. Прибью на ветлу — заведутся скворцы: все чин по чину.

Вот это-то нас и растрогало. Мы насыпали ему в шапку гвоздей, какие у нас нашлись, и он грубовато бросил нам: «Мерси!» А так как в это время мы с товарищем каждый день по два часа занимались французским языком, то нам ничего не стоило ответить Петру Васильевичу по всем правилам, то есть «силь ву пле», на что он недоуменно хмыкнул и передразнил нас: «Ишь ты, сильте плей!»

Улучшение общей жизни в деревне не могло не коснуться и Петра Васильевича. Кроме того, он научился пасти и вот уж который год уходит в Юрино, где и пасет деревенское стадо, выпасая большие деньги и много продовольствия. Так, например, одну зиму он привез сорок пудов овса и весь этот овес высыпал в избу; семья всю зиму жила как бы в сусеке.

Несмотря ни на что, у него выросла дочь Валентина, сейчас ей семнадцать лет, и она работает в кол-

хозе, а также сынишка Шурка, помогающий в летнее время (когда каникулы в школе) отцу пасти. Бегает и еще один мальчонка, поменьше. А грудного ребеночка Нюра носит каждый день в медпункт: видимо, хвор.

Теперь, в 1959 году, Петра Васильевича никак нельзя назвать не только бедным, но и просто нуждающимся, чему доказательством могут служить две никелированные кровати, купленные им в магазине год назад (все покупают, а мы что, хуже людей!), а то, что кровати эти так и стоят несобранные и что по-прежнему дует в двери и окна, это говорит не о благосостоянии семьи, а исключительно о характере как самого Петра Васильевича, так и жены его Нюры.

В этом доме (в другой его половине) живет мать Петра Васильевича, тетя Дарья, с дочерью Марусей. Маруся работает в колхозе дояркой, а тетя Дарья не работает по старости.

Иные люди, когда опишет писатель деревенский пейзаж и когда вдруг не окажется на переднем плане трактора, тотчас заявляют: «Что же вы все мне описываете старую деревню?» Как будто в деревне, куда ни глянешь, всюду так и торчат тракторы. Как правило, они все стоят около кузницы, за околицей села, и, значит, чтобы поглядеть на них, нужно идти туда, за околицу, нарочно.

Но дело не только в тракторах. Говоря так, люди, должно быть, сами не знают, что такое была старая деревня и что должно вставать перед глазами при произнесении этих двух слов. Каждый сам по себе. Тридцать шесть домов, тридцать шесть крепостей, или, может быть, лучше сказать, крепостишек. Равных нет. Если теперь Серега Тореев заработал на сто трудодней меньше, чем Юрка, то это вовсе не значит, что он, Сергей Тореев, будет ломать перед Юркой шапку. Бедняк, занимающий у богатого мерку ржи на семена (не то что есть — и сеять нечего!), было обычной картиной старой деревни.

Вот живут две женщины — тетя Дарья и дочь ее Маруся. Пахаря нет. Косца нет. Сеятеля нет. Конечно,

в старой деревне пришлось бы ходить по селу, вымаливать, просить, брать в долги, если просто-напросто не идти по миру с холщовой сумкой.

А я знаю, например, что когда недавно председателю колхоза понадобилось занять три тысячи рублей денег, он ходил занимать их именно к доярке Марусе.

* * *

...Здесь, на некотором отшибе, жили Тихановы, которых я совершенно не помню. Теперь дом принадлежит молодому хозяину Виктору Воронину.

Отслужив в армии и попривыкнув за это время к чужой стороне, парни редко возвращаются в родное село, а стараются зацепиться где-нибудь на заводе, на фабрике в городе или поближе к городу. Именно так и поступили два младших брата Виктора. Но сам Виктор, отслужив, вернулся в село, купил дом, женился, обзавелся хозяйством. Работает он трактористом. Судя по его добросовестности, обстоятельности, неторопливости и, я бы сказал, добропорядочности, видимо, это хороший тракторист. Жена его, Валентина, не работает, занимается с детьми — двумя сыновьями.

Я помню, как выглядел Виктор, будучи маленьким мальчиком. Недавно я был удивлен, когда в ограде попались мне навстречу два маленьких Витюшки Воронина, как если бы я перенесся лет на двадцать пять назад: такие же беленькие, соломенноголовые, с несколько широковатыми ртами и несколько оттопыренными крупными ушами. Как две капли воды, они похожи друг на друга и на того маленького Витюшку, которого я знал в своем детстве.

Интересно, что будет с этими белоголовыми мальчиками через двадцать пять лет: останутся ли они по примеру своего отца в деревне? Интересно также, как будет выглядеть в то время наше село, и какие новые люди будут населять его, и какие белоголовые мальчики будут бегать по ограде (если останутся от ограды хотя бы следы), и какие новые, иные, быть может, заботы будут одолевать людей, как одолевали они их, передаваясь из поколения в поколение?

* * *

...Андрей Павлович Грибов. Про него я писал в главе о молотьбе. В колхозе не работает, занимается своей личной пасекой; Мария Васильевна, его жена, в колхозе не работает, помогает мужу ухаживать за пчелами; дочь Лида живет в городе Ржеве, куда уехала по распределению из механического техникума; сын Владимир работает шофером в городе.

* * *

...Отчий дом Виктора Воронина, о котором только сейчас шла речь. Семья Ворониных находится в таком состоянии: тетя Поля, пожилая женщина, сторожит село (должность механически перешла от умершего недавно мужа); дочь Валентина работает в Черкутине; дочь Надя живет на Собинке, работает ткачихой; дочь Лида устроилась, кажется, на кирпичный завод в Ундоле; сын Николай — шофер во Владимире; сын Юрий работает на заводе во Владимире; сын Геннадий служит в Советской Армии.

Глава столь многочисленной семьи Петр Павлович Воронин был высокий, очень худой чернявый мужчина. Не только волосы, брови и щетина на щеках и подбородке были черны, но сама кожа казалась как бы черноватой. Сколько я себя помню, Петр Павлович постоянно жаловался на желудок и все время носил в кармане бутылку с разведенной содой, откуда и отпивал по нескольку глотков время от времени. Сильно мучился он в войну, когда соды достать было почти невозможно. Не знаю, какое утешение давала ему сода — действительное или больше моральное, ибо, видимо, нужно было ему при своей болезни блюсти строгую диету. Какой толк в соде, если сейчас он выпил щелочи, а через полчаса наелся черного хлеба с квасом и луком? Семья была большая, дети росли почти все в одно время, а работал он один, значит ни о какой диете не могло быть и речи, если бы и внушили ему, если бы и решил он ее соблюдать. Толстовская фраза: «Неудобно хворать мужику», — была сказана как раз про Петра Павло-

вича. А тут еще тяжелая работа: то он председатель колхоза в самые трудные для колхоза времена, то бригадир, то конюх, и лишь в самое последнее время, ослабев, стал Петр Павлович работать ночным сельским сторожем.

А тут еще неприятности: дочь, продавщица магазина, совершила растрату, и ее осудили на восемь лет. С другой дочерью вышла иная история. В колхоз приезжали солдаты на уборку картошки. По вечерам, конечно, ходили в клуб, знакомились с девушками. С одним солдатом и затеялась у младшей дочери Петра Павловича длинная переписка. Никто об этом не знал. А между тем у всякой переписки есть своя логика, свое течение, свое развитие, и однажды пожаловал в дом незнакомый демобилизованный паренек с чемоданами. Когда первое впечатление улеглось, все решилось, было, по-хорошему. Молодые расписались и поехали на родину к пареньку, куда-то на юг Украины. Девчонка, не бывавшая доселе нигде далее Владимира, смело решилась ехать в неведомые края. Я был в доме Ворониных, когда хлопотали, увязывая узлы с приданым, случай привел меня и в тот автобус, которым уезжали молодожены. Они были веселы, и я мысленно желал счастья этой наивной, неискушенной, ничего не изведавшей, но решительной девушке. Судьба рассудила по-иному.

Не прошло и года, как девушка возвратилась в Олепино. Не знаю, что там у них произошло, будто бы у мужа оказалась еще одна жена (но когда он успел?), да еще и с ребенком. Так или иначе, пришлось вернуться домой.

Так-то оно так, но все это надо пережить и перестрадать, и весной этого года Петр Павлович ослабел настолько, что слег в постель.

Когда помирал Петр Павлович Воронин, знало все село. Каждый день люди спрашивали друг у друга: как он? Не преставился? Отходит? Нет, вишь, сегодня супцу поел, может, и отпустит, мужик-то он еще молодой, разве это года, мог бы еще пожить.

Тут случился какой-то праздник, собрались гости. Петр Павлович встал, подсел к столу, выпил стаканчик водки и попросил сыновей Виктора и Юрия, чтобы они спели песню «В низенькой светелке огонек горит...» Я знаю, что ни Виктор, ни Юрий никогда не пели песен, и поэтому отчетливо вижу, как они исполняли эту последнюю просьбу отца, которую нельзя было не исполнить. Плохо ли, хорошо ли — песня была спета.

— А теперь я пойду помирать, — сказал Петр Павлович и вскоре помер.

Вдруг приехал из района духовой оркестр. Литавры и медные трубы провожали под Останиху Петра Павловича, прожившего нелегкую жизнь и так и не залечившего живота своего при помощи разведенной соды, постоянно таскаемой в кармане тужурки.

* * *

...Егор Михайлович Рыжов в колхозе не работает по старости. Жена его, Прасковья Терентьевна, не работает в колхозе по той же причине; сын Костя — колхозный пчеловод; дочери: Лида, Нюра, Шура, Капа, Маруся и Надежда — все вышли замуж, и никто из них в родительском доме не живет.

Было время, когда появление на дороге, ведущей из Черкутина, высокого старика с тяжелой кожаной сумкой на боку заставляло меня замирать и во всякое время было самым сокровенным, желанным и и волнующим. Даже если и нет письма, все равно Егор Михайлович зайдет для того, чтобы закурить моего желтого турецкого самосада. Когда у меня оказывались папиросы, он радовался папироске и говорил:

— Ну, ладно, давай попробуем пшенисненькой, только не закашляться бы! (Самосад шел, значит, на уровне черного ржаного хлеба.)

Пока он сворачивал папиросу да курил, я успевал просмотреть и «Правду» и «Призыв». Иногда, насидевшись и накурившись, Егор Михайлович вдруг лез в недра своей кожаной сумки, доставал оттуда кра-

сивые глянцевые корочки от старинной книги, уже обтрепавшиеся по углам, не торопясь, раскрывал эти корочки, перебирал лежащие там письма и говорил:

— А ведь тебе, гляди, чего-то есть!

А я уж жадно, на лету схватывал глазами мелкие почерки на конвертах, стараясь узнать знакомый.

Потом он брал табачку «на дорожку» и уходил в село разносить по домам радость ли, печаль ли, но больше, конечно, радость, ибо кто не обрадуется весточке с дальней, чужой стороны!

Как-то я подсчитал, что Егор Михайлович, обходя каждый день девять деревенек, прошел не меньше ста тысяч километров, то есть, значит, два с половиной раза обошел он земной шар по многострадальному экватору, незримо опутанному и проволокой, и тканями, и рельсами, и автомобильными дорогами, и чем только не опутанному в неугомонном человеческом воображении!

Свое дело Егор Михайлович любил и, когда немножечко выпьет, начинал убеждать сидящего рядом человека, кто бы этот человек ни был:

— Нет, ты мне не говори, я знаю: почта-связь — ве-е-ли-ко дело! — И, зажмурившись, как бы мысленным взором окидывая, всю систему почты-связи, добавлял: — Крепко, крепко!

Надо ли удивляться, что Егора Михайловича за глаза звали не по имени-отчеству, а именно «почта-связь», в чем не было ни пренебрежения, ни чего-либо обидного, но была одна симпатия, может быть, несколько ироническая.

— Вот погоди, «почта-связь» придет, купим у него конвертов.

— Что-то не видно сегодня «почты-связи», не зашел ли к кому в гости?

А Егор Михайлович, дождавшись очередного праздника, снова многозначительно поднимал кверху указательный палец и негромко и покачивая головой от благоговения и от чего-то, как бы ему одному известного, говорил:

— Почта-связь — ве-е-лико дело... Крепко... Крепко!..

Когда кто-нибудь называл его «почта-связь» в глаза, он медленно оборачивался, глядя на собеседника обиженными глазами, и вдруг произносил:

— Почта-связь, почта-связь... А не хошь — политик!

Трудно было добиться от Егора Михайловича, почему именно причислял он себя к политикам, то ли придавая почте огромное политическое значение, то ли вспоминая, как однажды в 1905 году привез с базара какие-то листовки и несколько лет прятал их на чердаке около трубы, пока не прокоптели и не пожелтели от времени.

Говорят, — я этого, конечно, не помню, — что в молодости Егор Михайлович возглавлял пожарную дружину села и что в те времена это была самая слаженная, самая, ну, что ли, боеспособная дружина во всей округе.

Постепенно ослабели ноги у старика, тяжело стало обходить каждый день девять деревенек, и Егор Михайлович, что называется, ушел в отставку. Тут выяснилось несколько обидное для него обстоятельство, а именно, что работал он, оказывается, получая зарплату не от сельсовета или непосредственно от государства, через почту, а от колхоза, путем начисления ему трудодней. Значит, остался он без пенсии, по каковому поводу, выпив, говорит, как бы стараясь усовестить кого-то и пристыдить: «Нехорошо, нехорошо...»

Кроме того, в виде мусоринок из избы попадают иногда к людям слухи, что почему-то забижает Егора Михайловича его старуха, заставляя жить в закутке и всячески принижая. Обиднее всего, что это та самая старуха, о которой он (второе классическое изречение после «почты-связи») всегда говорил: «Паша! Ангел ты мой непорочный!»

В последний раз я видел его совсем недавно. Он брел навстречу сырому осеннему ветру с палкой и кошелкой в сторону леса. Красные глаза его слезились на ветру и часто моргали.

— Есть ли грибы-то? — спросил он у меня, хотя

мог бы и не спрашивать, видя кузовок, полный грибами. — Хочу вот тоже походить.

— На Миколавку иди, Егор Михайлович, — там белых много.

— Мне хоть масляток, ладно уж белые-то...

— На Миколавку иди, там и маслята есть.

— То-то на Миколавку...

И, как бы вспомнив наши неторопливые курения и беседы, доверительно пожаловался:

— Плохо мое дело. Никуда не годится. Вот уж и нагнуться боюсь, как бы не упасть.

* * *

Единственный сын Егора Михайловича (после шести дочерей), Костя, — одногодок мне и Юре Семионову. Но если Юрка был мальчишка сорвиголова, если я постоянно водился то с Черновыми, то с Грубовыми, то с Васей Кузовым, Костя рос отдельно от всех нас, в детских играх и забавах не участвовал, но когда надо было ему кататься на лыжах и салазках, то, понаблюдав из окна, как забавляемся мы, он потом один пытался воспроизводить все наши игры и забавы. Началось все это с неусыпных и чрезмерных забот родителей о единственном, наконец-то родившемся сыне: как бы не продуло, как бы не застудился, как бы не зашибся, а потом постепенно превратилось в привычку и, наконец, в характер.

В годы войны (Костю по какой-то болезни не взяли в армию) он и буквально остался в селе один из своих ровесников. В это время проявился его особый талант — он сделался охотником.

Дичи не очень много в наших перелесчатых, а более полевых местах. К тому же люди все заняты в колхозе, а крестьяне (так чтобы не один, а во множестве) только тогда начинают промышлять дичь или рыбу, когда промысел этот выгоднее самой работы. Например, по берегам больших рек или озер, где уж если рыба, то пудами, или в настоящих борах, где если рябчики, то сотнями, или в болотах, где жирных дупелей можно заготавливать на зиму, вот и не надо резать поросенка или скотину на мясо.

У нас ничего этого нет. Правда, весной при умении можно добыть пяток тетеревов, так ведь это за всю весну, или столько же рябчиков, или подстрелить пару горлиц; осенью там, где рябины, можно настрелять жирных, «ягодных» дроздов-рябинников, но решительно никто в округе не занимается подобной охотой, и даже больше того, никто не знает, есть ли тетерева в лесу и можно ли вообще употреблять в пищу такую птицу, как дрозд.

Итак, ни весенней, ни осенней охоты в наших местах не производится.

Страннее то, что зимой, когда и люди свободнее и дичь интересней, также почти никто не занимается охотой, а если завелся в деревне охотник, то знают о нем чуть ли не на двадцать верст во все стороны.

Костя Рыжов сделался именно таким охотником.

Собаки Костя никогда не имел, что непонятно и объяснимо лишь странностью его характера, ибо с собакой он мог бы гораздо больше добывать и белок, и зайцев, и барсуков, и лис.

Белки очень скоро надоели Косте, и он одно время перешел исключительно на зайцев. Утром по свежему снежку (да простят меня охотники, а пуще того, охотники-писатели, потому что надо было бы мне сказать по «пороше»!), итак, утром по свежему снежку на самодельных лыжах, с плохонькой берданкой (а первое время так и вовсе с шомпольным ружьем) отправлялся Костя от своего огорода по оврагу к реке, на ходу распутывая заячьи письмена. Твердо знал Костя, что, набегавшись за ночь, русак залег в снег и теперь спит где-нибудь затаившись. Но если и спит, то все равно одним только ухом, а другим слышит, как подбирается к нему Костя Рыжов, и плохо заячье дело, если услышит недремлющее ухо чуть-чуть позднее, чем надо. Выскочит заяц на свет божий, а три секунды спустя грянет выстрел, и золотые струйки инея потекут с ольховых деревьев, содрогнувшихся от неожиданного среди тихого утра нелепого, варварского звука.

Постепенно осваивал Костя нашу дичь, пока не сделался завзятым лисятником.

Обыкновенно на лису в наших местах охотятся с собакой. Пустит охотник по следу свою Найду, а сам, укрывшись белой материей или надев белый халат, ляжет на ровном аккуратном лисьем следочке. Неизвестно, где в течение нескольких часов гоняет собака красного зверя, только рано или поздно, напетляв по оврагам и перелескам, вернется лиса на свой старый след и пойдет лапка в лапку, следочек в следочек прямо на затаившегося охотника.

Но собаки у Кости Рыжова не было, и он охотился на лису иначе. Заметив по следам, из какого именно буерака, в каком именно месте выходит лиса на мышкование, то есть в чистое поле, чтобы ловить мышей, Костя становится еще потемну за елку, так, чтобы выстрел вполне доставал до лисьего следа. Остальное предоставлялось терпению. Лиса должна будет пойти мимо Кости, когда пойдет с мышкования обратно в лес. Тут можно прицелиться не торопясь, чтобы наверняка и чтобы не испортить шубку.

Один раз стоял Костя в своем дозоре и видит, что две лисы скатились с поля в овраг, но лисы какие-то чудные, непохожие. Звери ближе, охотнику все тревожнее, а особенно стало тревожно, когда вместо лис оказались волки — два волчища, матерые, седые, с заиндевелыми мордами, с желтыми мокрыми клыками. Другой бы стал думать, что дробь мелка и что будет, если не убьешь, а только подранишь, да что будет, если другой волк бросится в отместку за первого, но в Косте Рыжове вполне проявился настоящий охотничий дух. Недолго думая, он выбрал в паху место, где шерсть вроде бы пожиже, и ударил туда из своей берданки. Волк ткнулся в снег, завопил, забрылял ногами, а другой волк или, может быть, волчица обхватила раненого передними ногами и начала оттаскивать к лесу. Костя успел перезарядить ружье, но, то ли услышав щелчок, то ли так, по инстинкту, волчица отпрыгнула от убитого друга и пошла наутек.

Давно говорили Косте, что коль скоро научился он охотиться, то купил бы себе настоящее хорошее ружье, двухствольное, современное, а не путался бы

со старой берданкой. Случай с волками убедил Костю. Он продал овцу и на эти деньги купил хорошую двустволку.

В первый выход с новым ружьем получилась у Кости неприятность. Пальнул он из-за елки в лису из одного ствола — осечка. Пальнул из другого — опять осечка, а лиса не ждет. Тогда в сердцах схватил охотник двустволку за оба вороненых ствола, размахнулся и ударил об морозную, звонкую елку, брызнули на снег коричневые лакированные щепки. Так и по сей день с берданкой охотится Костя Рыжов.

Он по-прежнему мало бывает на людях или, лучше сказать, не бывает совсем. Работа его — на пасеке — располагает к одиночеству. Но надо сказать, что с годами от одиночества начинает тосковать Костя. Я знаю, что, выпивши, он слезно жаловался кузнецу, что и семьи-то у него нет, и никого-то у него нет, и что самый он несчастный человек на свете.

Я один раз заикнулся было мужикам, что если сам он никак не соберется, то женили бы его через сваху, все же надо вывести человека на люди, на что Александр Федорович спокойно и уверенно ответил:

— Не, ничего не выйдет. Костя-то? Он завьял...

* * *

...Александр Федорович Постнов работает молотобойцем в кузнице. Человек он неженатый и был бы совершенно одинок, если бы не старенькая тетка его Прасковья Андреевна, по-олепински, Пашо́нка да Пашо́нка. Дело-то было так: когда отец и мать Шурки померли, а сестра Клавдия ушла работать на «Электросилу», а сестра Нина, сделавшись геологом, затерялась на чужой стороне, а дом развалился, Шурка перешел жить к тетке Прасковье Андреевне. Да так и живет до сих пор. Этим летом он обновил дом — перебрал и подрубил его. Прасковья Андреевна всю жизнь работала уборщицей в школе и теперь получает пенсию.

* * *

...Иван Васильевич Кунин. О нем, как о лучшем косце, я рассказывал в главе о сенокосе. Жена его, тетя Саша, померла, а так как детей у них не было, то и остался он совершенно один. Кое-как справляется с варением похлебки и картошки и, несмотря на преклонные годы, кое-что делает по своему старинному ремеслу, например оконные рамы, или грабли, или, не торопясь, может соорудить и целую телегу.

Вдовство старухи, потерявшей своего старика, чем-то легче, и естественнее, и проще, чем вдовство такого вот Ивана Васильевича, оставшегося одиноким и вынужденного и постирать за собой, и постряпать, и все такое.

— Иван Васильевич, — сказал я ему однажды, — мне столько лет, сколько прожил ты, ни за что не прожить.

— Полно, — спокойно ответил старик. — Забудешься и проживешь.

* * *

...Александр Павлович Кунин — агроном нашего колхоза; Валентина Ефимовна — колхозный бухгалтер; у них двое детей: Коля и Нина — ходят в школу.

Александр Павлович не кончал ни Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, ни другого сельскохозяйственного вуза. Возвратившись с войны, он не ушел в город, а стал работать в колхозе. Мы много пишем в газетах о людях, работающих на производстве и одновременно повышающих свою культуру. Гораздо меньше мы говорим о самообразовании колхозников. Александр Павлович сделался агрономом, что называется, без отрыва от производства. Думаю, что какую-то роль сыграла тут его жена Валентина, агроном по образованию.

Как часто бывает, Александр Павлович, младший из Куниных сыновей, остался единственным хозяином в доме. Отец, Павел Васильевич, и мать, тетя Саша, померли: два брата, Иван и Николай, погибли на

войне; две сестры, Мария и Капа, живут во Владимире.

Иван Кунин с детства любил возиться с лошадьми и поплатился за эту любовь своим левым ухом. Дело было в том, что жеребец Голубчик, принадлежавший до колхоза нам, то есть моему отцу, на общем конном дворе приучился кусаться. Дошло до того, что в стойло к Голубчику стало опасно заходить. Бывший хозяин его, мой отец, однажды смело зашел, ибо вырастил жеребца из маленького, слабенького жеребеночка. Но и своего старого хозяина не признал жеребец. В то время как рука отца хотела поласкать лошадь, потрепать ее по шее, потрясти за губу, лошадь сгребла широкими желтыми зубами тыльную сторону ладони и отодрала кожу и мясо. Я помню, что отец плакал, но плакал он скорее всего не от боли, а от обиды за то, что его родной Голубчик его же и укусил. Я не помню, при каких обстоятельствах Голубчик начисто срезал левое ухо Ванюшке Кунину.

Иван был гораздо старше меня, но я хорошо помню, как из подростка сделался здоровый красивый парень. Он рос работящим, и это сочеталось в нем с тихостью и скромностью. Все взрослые, или, лучше сказать, пожилые люди, не могли нахвалиться Ванюшкой. Его сделали бригадиром в колхозе, соединив обе бригады села в одну (было время, даже село делилось на две бригады, а не то чтобы из десяти деревень составлялся один колхоз), и снова пошли разговоры, что лучшего бригадира и не надо и что если бы все мальчишки выправлялись в таких работников, то старики спокойно уходили бы на покой под Останиху.

Только один раз проштрафился молодой бригадир. Уйдя с вечера гулять в Василево, мы, застигнутые там дождем, забрались на сеновал и легли спать. Нас было человек восемь или десять. Утром мужики, выехав метать клеверные стога, были в недоумении: где же главная молодая рабочая сила и где же сам бригадир? Давно протопились печи, когда мы, тихие, зная свою вину, вошли в село.

Об Иване я помню главным образом в связи с василевским периодом нашей молодости. Когда настала пора перехода нашего из подростков в парней, в деревне, что в трех километрах от Олепина, а именно в Василеве, поспел такой выводок девушек, что парни со всей округи только и стремились в Василево. В Олепине в это время подобралась ватага парней, если считать, начиная с нас, шестнадцатилетних, и кончая, допустим, Иваном, которому в то время было, наверно, больше двадцати. Мы без труда завоевали в Василеве гегемонию и сделались хозяевами положения. Правда, парни из Калитеева, более близкого и естественного соседа для Василева, пытались отнять у нас завоеванное, но как скоро мы встретили их раза два или три на прогоне с кольями (а они уж из своей деревни тащили свои колья с собой), то дело решилось в обоюдной потасовке. Надо сказать, что василевские девушки стоили того, чтобы вступить из-за них в драку.

Каждый вечер, как на дежурство, мы, умывшись после работы, надев чистые рубахи и собравшись все вместе, шли в Василево, разрывая на части тонкую вечернюю тишину пришедшейся к случаю частушкой:

Мы чужие крыши кроем,
А свои некрытые.
Мы чужих девчонок любим,
А свои забытые.

Какая это была пора! Дорога ведет сначала через тихое, отяжелевшее под росой клеверное поле, в котором свищут перепела, а потом после глубокого оврага вступает в лес. Молодые елочки, то облитые ясным лунным светом, то наловившие в хвою красноватых августовских звезд, то сливающиеся с плотной темнотой сырого, дождливого вечера, стоят по обеим сторонам дороги.

В хорошую погоду сразу, как зайдешь в деревню, слышно, где гуляют, где хороводятся девки. Если же дождливая пора, остановишься на прогоне, послушаешь: тишина. Неужели не вышли гулять, легли спать с вечера? Слышно, как с деревьев падают

крупные капли после только что прошедшего дождичка, слышно, как на деревьях сонно ворочаются грачи, а так все тихо. Борис Чернов сейчас предложит зазвонить в колокол, что повешен на столбе посреди деревни. Но это уж было бы озорство. Идем вдоль Василева, тихие и разочарованные, и вдруг близко возле нас ослепительно вспыхнет, обожжет девичий смех, за которым обязательно нужно девушкам скрыть некоторую неловкость, что в дождик вышли гулять. Ясно, не воздухом подышать вышли василевские девушки, сидят на крыльце, затаились, ждут...

Грязно, сыро идти в дождь через поле да лес, но есть и своя сладость в том, чтобы посидеть с девушкой на уединенном, укромном крыльце именно под шуршание теплого дождика в непроглядную от черной сырости ночь. К утру кто-нибудь блямкнет в колокол на столбе — сигнал к сбору. К Олепину подходим — совсем рассвело, петухи орут, дымы из труб потянулись. Спать некогда, сразу и на работу.

В плохую погоду обычно не все девушки выходили гулять, а только те, с которыми уж определенно «ходят», «гуляют» парни. В такие вечера вдруг оказывался в одиночестве и как бы лишним Иван Кунин. Мы удивлялись втайне, почему он не провожает ни одну девчонку, все же самый горячий охотник, самый агитатор, чтобы идти в Василево, самый организатор этих походов. Тут могло быть двояко: либо кто-нибудь успел «захватить» нравящуюся ему девушку и теперь неловко отбивать у своих, либо крепко нравится одна из еще «свободных», но так крепко, что не смеет даже и подойти.

В эти свои годы я только на каникулы приезжал в село, поэтому, может быть, так и не узнал бы, в чем там было дело, но мне рассказали. Ивану точно нравилась одна, едва ли не лучшая из василевских девушек, Тоня. Точно, он не смел к ней подойти и потому, что был очень скромен, и потому, что любовь завладела им раньше, нежели он подошел.

Все догадались и однажды как бы ненароком оставили их одних на крыльце, а сами разошлись. Значит, и Тоне нравился этот рослый, красивый парень, если она осталась, а не ушла вместе со всеми. Влюбленные посидели, пока не взошло солнышко, и это был единственный вечер, или, лучше сказать, единственная ночь Ивана Кунина. Через несколько дней началась война, с которой Иван не вернулся. Девушка тоже пошла на фронт не то медсестрой, не то связисткой.

Наиболее серьезная любовь в Василеве получилась у Бориса Московкина. Была там, если можно так выразиться, девушка номер один, по имени Шура. С ней-то и гулял Борис, хотя, по совести говоря, не был первым олепинским парнем. Дело, конечно, пришло бы к женитьбе, если бы не война, или, вернее, если бы не смерть Бориса на этой войне. Шура приходила в Олепино провожать Бориса в армию, и именно она запела «Последний нонешний денечек», а это право, как известно, дается невесте.

Далеко-далеко ушла наша василевская молодость. И эта тревожность, пока идешь ночными полями туда, и эта крылатая легкость, когда на рассвете идешь обратно. Нету больше ни Ивана, ни Тони, ни Бориса, ни Шуры. Одних нет, потому что их нет, потому что их (как привыкли мы к этому слову!) убили, а другие стали женщинами в годах, окруженными кучей ребятишек. Снятся ли им тихие, все в тонком пару, довоенные наши рассветы?

* * *

...Михаил Николаевич Грибов — колхозный конюх; Прасковья Дмитриевна в колхозе не работает по здоровью; сын Николай отделился и поставил себе новую избу; сын Виктор живет в Гусь-Хрустальном; сын Шурка — по прозванию Железный — служит в армии. Необидное прозвище это возникло как-то само собой и укоренилось в селе. Шурка был вездесущий мальчишка, с постоянными цыпками на ногах, не боящийся ни дождя, ни холода, ни ушибов, ни ссадин; этакий выносливый деревенский мальчишка

из нуждающейся семьи, который, не разучившись еще и не отвыкнув лазить по птичьим гнездам, умел запрягать лошадь и пахать землю. Дочь Нюра работает ткачихой на Собинке; дочь Рита — уборщица в клубе, а в свободное время работает в колхозе разные рядовые работы. Эта рослая, сильная и ловкая девушка — теперь вторые руки в семье после самого Михаила Николаевича.

* * *

...Мария Андреевна Московкина в колхозе не работает по годам и по здоровью. Она живет одна, занимая маленькую комнатку в большом, многокомнатном, кроме нее, нежилом, на разные стороны покосившемся и разваливающемся, подобно старому, перезрелому грибу, в бывшем поповском доме; муж ее, Василий Дмитриевич, погиб на войне; сын Виктор работает мастером на ткацкой фабрике; там же и второй сын, Алексей, должности его в точности не знаю.

Мне запомнилась одна черточка из характера Василия Дмитриевича. В летний праздник, рано утром, подошел он к нашему дому и попросил моего брата, чтобы тот остриг его машинкой наголо. У брата точно была машинка, но она была неисправна, тупа, не отрегулирована, не смазана и чуть ли не заржавела. Стричь ею практически было невозможно. Брат сказал об этом Василию Дмитриевичу.

— Ну а как же, — с угасающей надеждой спросил Василий Дмитриевич, — праздник, чай, нынче? Да она что, совсем не режет или как?

— Режет она, может быть, и режет, но стричь нельзя: не хватит никакого терпения.

— Ну, а я думал чего, — обрадовался Василий Дмитриевич, — валяй стриги, насчет чего другого, а насчет терпения, про это и разговаривать не стоит.

Я знал, что за машинка, каково попасть под нее, и поэтому с любопытством следил за лицом Василия Дмитриевича, не поморщится ли хоть разик, не моргнет ли глазом. Нет, не моргнул.

* * *

...Василий Петрович Грибов в колхозе не работает, занимаясь по домашнему хозяйству. Небольшого росточка, бойкий, грамотный, развитой, он сначала работал председателем колхоза то у нас в селе, то в других деревнях, и председательствование стало как бы его специальностью и профессией. Но то ли большие, объединенные колхозы оказались не по плечу Василию Петровичу, то ли годы сделали дело, постепенно он отстрял от председательствования и ушел в домашнее хозяйство; жена его, Клавдия Яковлевна, учительница, но учит не в нашем селе, а в Корневе, в трех километрах от Олепина, за Самойловским лесом. В детстве я некоторое время учился у Клавдии Яковлевны, думаю, не во втором ли классе. Мы помним (дети очень чутки на такие вещи), как она, молодая девушка, начала тогда гулять с Василием Петровичем, как сон слепил ее глаза на уроках после прогулянных ночей и как, наконец, они вскоре поженились. Это было не далее, чем вчера. Однако взрослый сын Клавдии Яковлевны, Валерий, живет и работает во Владимире, а другой взрослый сын, Вадим, — в Москве.

* * *

Пожалуй, ни к кому я так не любил ходить в дом, как к Черновым. Дом их — три окна по улице — стоит на берегу пруда, а окна у него, у единственного во всем селе и во всей округе на сто верст, без переплетов, тех самых переплетов в виде буквы «Т», которые характерны для русских изб.

Поэтому не замкнуто, не хмуро, не уныло глядел дом на пруд, а через него на ограду и церковь, а открыто, весело, словно бы улыбался. Это отвечало и характеру обитателей дома.

Сергей Иванович, глава семьи, высокий, сутулый, бреющийся наголо мужчина, был хороший столяр. На дворе у него стояли верстаки: большой — себе, а поменьше верстак — для ребятишек. Над верстаками на полках лежало множество инструментов.

Настоящей душой дома была тетя Оля — мать всех наимногочисленнейших Черновых детей.

Бесспорно, что ядром всей детворы и, так сказать, гордостью семьи были три сына: Борис, Николай и Сергей, в олепинском обиходе Серьга. Сколько девчонок окружало это мужское «ядро», я теперь, право, и не знаю. Знаю только, что тетя Оля первая в Олепине стала получать от государства пособие за многодетность, что-то около двух тысяч рублей в год, что вызывало зависть у остальных многодетных матерей, не дотянувшихся все же до тети Оли.

Огромное семейство не могло жить в большом достатке, тем более, что самый старший, Борис, определился как работник перед самой войной, то есть перед своей смертью.

Как сейчас, вижу огромное блюдо картошки, которое крутится на столе — так энергично загребают из него ложками. Но ни разу я не замечал какого-либо беспорядка, анархии за столом: в строгости и выдержке воспитывалась семья.

Бедность стола тетя Оля всегда стремилась заслонить веселыми шутками:

— Володя, у вас, чай, картошки-то на стол не подают?

— Как так не подают, тетя Оля, а чего же есть?

— Неужели правда, а я ведь думала, что во всем селе только одни мы картошку-то и едим. Радовалась: вот, мол, как мы живем, картошку едим, а другим только завидовать остается да какие-нибудь паршивые яичишки да мясишко есть. Много ли в них толку! Ан, поди ж ты, и у других картошка, вот не знала!

Впрочем, с таким аппетитом елась эта картошка, что мне хотелось тотчас бежать домой и просить у матери картошку.

Но самое главное начиналось, когда тетя Оля к концу ужина заводила свои, не знаю уж как и назвать, сказки не сказки, побасенки не побасенки — одним словом, свои «страсти».

— Ведь вот ты, Володя, опоздал немного. Прийти

бы тебе на полчаса пораньше, какой случай-то у нас приключился.

— Какой же случай?

— Да как же, жали мы сегодня пшеницу около Самойловского леса, знаешь, чай, поле за капустным оврагом, там еще елки черные, густые стоят...

В ее интонациях просыпалось что-то такое, отчего, еще не зная, о чем будет рассказано, становилось жутковато.

— Жнем, значит, мы, жнем, и захотелось мне пить. Так-то захотелось пить, что нет никакого терпения. Пошла я в овражек, к родничку, знаешь, чай, из-под ивы, из-под навесистой, родничок там бьет...

То, что в рассказе присутствовали конкретные вещи: Самойловский лес да навесистая ива,— рассказу придавало и реалистичность и достоверность.

Только я наклонилась к воде, а из елок с той стороны оврага голос: «Поляна, Поляна, скажи Домовяне, что нынче утром Лесяна померла». Голос жалостливый такой, не страшный, но вроде бы мужской, а у меня руки-ноги трясутся, слова сказать не могу, да и кому его сказать: одни елки вокруг да водичка из-под ивы переливается.

Ладно, дожали мы, что задумали, пришли домой. Я села за стол да Сереже (показывает на мужа) и рассказываю. Ребятишки на улице гуляли, а жалко, что не слышали. Да... значит, Сереже-то я и рассказываю, послышался, мол, голос из елок: «Поляна, Поляна, скажи Домовяне, что нынче утром Лесяна померла». Только я проговорила, а под печкой как охнет, как завозится да из-под печки-то шасть — и в дверь. Да так скоро выскочило, что разглядеть не успели, на что похоже, нись на кошку, нись на иного зверька. Дверь-то широко распахнулась, значит, что-то порядочное...

Сидишь, боишься оглянуться на темный угол: такая находит оторопь,— но все же спросишь:

— Что же было, по-вашему, тетя Оля?

— Как что, значит, услышала Домовяна и побе-

жала Лесяну хоронить. Родня, значит, наша Домовяна той Лесяне, золовка, может, или свояченица.

— А когда обратно придет?

— Кто знает. Может, сейчас вот и вкатится, а может, пришла, да и сидит опять под печкой, и слушает, как мы про нее беседуем. Не знаю я, какой у них порядок насчет похорон-то, у нас, по-человечески, на четвертый день полагается, а у них не знаю, они ведь, наверно, некрещеные.

— Что-нибудь не то... — начинали мы, поскольку уж ходили в школу и много наслышались там, что чудес не бывает, а так, одно суеверие.

— Эх, мальчишки! — с прочувствованной, искренней певучестью говорила тетя Оля. — А как же тогда с Калининским оврагом быть?

— С каким еще Калининским оврагом?

— Да вы все равно как в другом государстве живете. Неужели не слышали про Калининский овраг?

Мы знаем этот овраг: глубокий такой, большой, от Черкутина до Калинина тянется, — да в нем-то что?

— Ведь вот вы опять не застали, а мы, бывало, как приходит девятое июня, заранее выходим все на гору слушать. Вон хоть Лександра Федорыча спроси, Владимира Сергеича, Ивана Михайловича Пенькова. А курьяновские, наверно, все помнят. Бывало, вся Курьяниха дрожит в этот день. А все равно: страшно, а выходим слушать.

— Что же там: ухало или кричало чего-нибудь? Так, верно, сова или филин?

— Эх, мальчишки, неужели тетя Оля за свою жизнь совы или филина не слышала!? Вечера в июне теплые, тихие, над рекой соловьи поют, а мы уж все вышли на гору, ждем. И дрожим, а ждем. И вот ровно в половине двенадцатого ночи в овраге запевает девушка. Издалека сначала голосок-то слышно. И так сладко, так сладко поет, что даже холодок по спине. Все ближе, все ближе по оврагу идет девушка, и голос все громче, все явственнее. Песня такая, что мы ли, бабы здешние, песен знаем, а такой не

слыхивали. И главное, что поет без слов, один голос льется и льется, льется и льется. Эх, мальчишки, помирать буду, а не забуду того голоса! Чистый, серебряный, печальный.

Но самое диво в том, что хороша, дивна песня, а как кончится она, никто не может мотива вспомнить. А такие ли певцы были, того же Владимира Сергеича возьми. Пела девушка ровно полчаса, как раз хватало ей, сердечной, весь овраг тихим шагом пройти. Тут и замолкала песня. Она замолкнет, а мы стоим, шелохнуться боимся. Стих какой-то на нас найдет. Ну, потом разойдемся, конечно, по домам, на будущий год, опять девятого июня...

— А если бы пойти поглядеть?

— Ты лучше поди спроси у Лексея Павловича Грубова, как они, пятнадцать парней, — одна партия от Калинина, другая партия от Черкутина — решили ее поймать.

— Ну и что?

— А то, что шли, шли, все впереди них она пела, вдруг слышат: уже сзади поет. В это время одурение на них нашло. Как встретились две-то партии да как пошли друг друга кольями полыскать...

Легко-легко со страшного на смешное умела перевести тетя Оля.

Историй таких тетя Оля рассказывала нам бездну: и про «стонотну кость», которая в земле по ночам стонет, и про то, как в урочный день и час в Курьяновском лесочке барыня с тросточкой появляется, а навстречу ей белая лошадь бежит. Как только барыня возьмется за узду, так все и проваливается сквозь землю. Наслушавшись тетю Олю, страшно потом идти через плотину домой. Идешь, а сзади того гляди кто до спины дотронется. К тому же голуби на колокольне крыльями захлопают.

Однако вспоминать-то я хотел не столько о тете Оле, сколько о ее сыновьях.

Не часто бывает так, чтобы мальчишка вместо самой первой игрушки получал в руки или даже самовольно схватывал настоящий инструмент: молоток, долото, стамеску, коловорот. Черновы ребятиш-

ки росли в мире рубанков, фуганков, кудрявых стружек, кусков дерева, на глазах у них превращавшихся в оконную раму, в салазки, в оглоблю, в топорище, в спицу для тележного колеса, в табуретку, в скворечню, да и мало ли еще во что.

Неудивительно поэтому, что во все наши игры они привносили дух изобретательства и, я бы сказал, обстоятельности.

Все считали в селе, что со временем Черновы мальчишки станут какими-нибудь механиками, хотя бы по той простой причине, что один за другим, выбегая из своего дома, они начинали не то махать руками наподобие крыльев, не то вертеть ими как бы пропеллером, при этом кричали на все село: «Махина, махина, махина!» Какая уж именно машина рисовалась в это время в их воображении, никто не знает.

У старшего, Бориса, был очень выразительный жест. Слушает он, слушает про что-нибудь, не понимая, так что даже поперек лба вздуется синяя жилка, и вдруг подпрыгнет на одном месте, хлестнет звучно ладонью о ладонь и одновременно воскликнет: «Ага!» — значит, Борис все понял.

Однажды мы с Васей Кузовым вычитали в «Пионерской правде», разобрались в нарисованных там чертежах и стали мастерить «Сережин пулемет». Ствол мы решили прожечь жигалом в кузнице, благо отец Васи был кузнец. Однако воображать проще, чем делать. Жигало лезло в куске дерева наискось, дым разъедал глаза, дважды каждый из нас обжег руки, и слезы отчаяния готовы уж были выдать наше душевное состояние. В это время случился в кузнице Борис Чернов. Он, пока мы возились с прожиганием ствола, все изучал расположенную на верстаке газету с чертежами «Сережиного пулемета». Спохватились мы, когда было поздно, то есть когда он уж подпрыгнул на одном месте, хлестнул ладонью о ладонь и, воскликнув: «Ага!» — выбежал из кузницы.

После этого три дня никто не бегал по селу, вертя руками и крича: «Махина, махина, махина!» Зато

на четвертый день Панька Васильев в то время, как проходил мимо Чернова дома, был обстрелян из слухового окошка сухим горохом. Слышался равномерный треск. «Сережин пулемет» работал без перебоя.

Я уже сказал, что Черновы сыновья во все привносили дух обстоятельности. Когда дягиль выйдет в мясистые, сочные трубки, мы делали из этих трубок чвикалки. Сейчас срежешь трубку поближе к земле, а один конец оставишь глухим, обрежешь по суставу. В глухом конце проткнешь тоненькую дырочку, на аккуратную палочку намотаешь пакли, чтобы туго ходила внутри трубки, и чвикалка готова — стреляет водой на пятнадцать шагов. Понаделав чвикалок, устраивали около пруда войну — партия на партию. Один раз человек семь напали на троих Черновых братьев, измочили их — не надо купаться. В самый разгар сражения Борис вдруг бросил свою чвикалку, подпрыгнул на одном месте, хлопнул ладонью о ладонь и воскликнул: «Ага!»

Два дня, подойдя к воротам Чернова дома, за которыми сразу стояли верстаки, можно было слышать пыхтение, сопение и время от времени злорадное хихиканье. На третий день Борис выбежал к пруду, держа в руках некую медную трубу, запаянную с одного конца. Борис навел трубу, куда нужно, а Николай и Серьга действовали поршнем. Струя толщиной в палец хлестала из трубы через весь пруд, и наши чвикалки были теперь как бы жалкие пистолетишки по сравнению с полковой гаубицей.

Шутки шутками, но никто не умел сделать лучше Черновых мельницу, чтобы крутилась, поставленная над весенним ручьем, и лыжи у них были самодельные. Вскоре по-настоящему проявились способности братьев Черновых. Было это, когда все село, то есть всех нас, сельских мальчишек, охватила идея педального автомобиля. Идея эта, вычитанная в «Пионерской правде», была настолько проста, что осуществить ее нам казалось пустяковым делом. Почему-то каждый решил строить автомобиль само-

стоятельно, тайно, и если бы каждому удалось, то однажды на улицах Олепина появилась бы колонна деревянных педальных автомобилей.

Как сейчас, помню, затащил я на чердак еловое бревно, топор, одноручную пилу, а также молоток с гвоздями. Иного инструмента у меня не было. Автомобиль снился мне по ночам, я видел его в грезах и воображении ладным, красивым, роскошным, обитым изнутри красным плюшем. Но пока что у меня было одно лишь еловое бревно, лежащее на жарком, душном чердаке, и я не представлял в полной мере, что между бревном и красным плюшем, пущенным на сиденье, расстояние не меньше, чем от сказки до яви. Мне так хотелось видеть автомобиль готовым, чтобы можно было приступить к обиванию его красным плюшем, что не хватало терпения обтесать бревно и сделать из него хотя бы квадратный брус, годный на основание автомобильной рамы. Так и осталось неотесанным мое еловое бревно. У других мальчишек дело пошло разве что немного подальше, если не считать Черновых.

Однажды раскрылись тесовые ворота их двора, и, поскрипывая сколоченными из досок колесами, вполне готовый автомобиль выехал на зеленую лужайку. Борис сидел за рулем и крутил педали, Николай бежал рядом и изображал гудок, а младший, Серьга, кружил руками наподобие пропеллера и кричал: «Махина, махина, махина!»

Автомобиль оказался гораздо проще и скромнее моего, роскошного, рисовавшегося в воображении. Не было и красного плюша. Но у этого автомобиля все же было одно «незначительное» преимущество перед моим: он существовал, и на нем можно было кататься вдоль сторонки села.

К началу войны Борис вырос в высокого, ладного парня, с жгуче-черными волосами; Николай успел окончить в Кольчугине электрокабельный техникум; Серьге исполнилось шестнадцать лет.

Бориса убили в первый же день войны, кажется, в Бресте, а Серьгу два года спустя. Николай по болезни попал в тыловую часть и таким образом остал-

ся жить, один из трех братьев. Он несколько лет работал в колхозе, но здоровье его все ухудшалось. Тут он вспомнил про старую специальность свою, полученную в техникуме, и уехал в город. Состарившаяся тетя Оля переехала к нему, а сестры разъехались кто куда, главным образом в Москву: была зацепка в виде родственницы.

Дом их с цельными зеркальными стеклами стоит теперь заколоченный. Летом приезжает в Олепино тетя Оля, расшивает одно окно, и этого ей вполне достаточно. Находились покупатели, но старая женщина твердо сказала, что, пока она жива, чужая нога в дом не ступит.

Последний раз я разговаривал с ней, когда она была в сильно расстроенном состоянии. У нее, так как никого не осталось в колхозе, хотели по углы отрезать усадьбу, то есть хороший сад, выращенный руками покойного мужа. Но она в волнении начала говорить непонятное: «Или вы не видите, как сыновья мои, красавцы мои, раньше звонка идут на работу? Вы думаете, они спят под курганами, сложив свои головы? Да не каждый ли день, да не раньше ли всех они идут на работу? Может, тяжела для вас, живых, иная работа, а им она самая легкая, самая радостная...»

Так и не отрезали усадьбу у тети Оли Черновой.

* * *

По соседству с Черновыми жила семья Грубовых. Детей у Грубовых было тоже три брата, но зато девчонки не было ни одной.

Как только вспомнишь Черновых, так и видишь себя мастерящим вместе с ними что-либо. То водопровод от пруда к дому, то автомобиль, то, начитавшись «Занимательной физики», разнообразные игрушечные фонтаны, телескопы, а то и вечный двигатель.

С братьями Грубовыми, напротив, связана у меня самая озорная, самая бесшабашная сторона детства.

Старший, Николай, был посерьезнее и потише,

чем Валька или Бошка (то есть Борис). Эти двое были настоящие сорванцы.

Черновым важно сделать мельницу и установить ее над ручьем, вытекающим из пруда, а Грубовым важно подкрасться в это время сзади и столкнуть кого-нибудь в воду.

Тем интересно полить гору водой, чтобы на другой день было хорошо кататься на салазках, а этим непременно надо ночью, тайно, либо сделать поперек горы канавку, либо посыпать гору золой из печки, так что салазки станут останавливаться на середине горы.

Кому-нибудь интересно сплести вершу и поставить ее в реке под кустом, а нам, если я в это время с Грубовыми, гораздо интереснее подследить и вытащить чужую вершу из воды да еще и подкинуть в нее дохлую ворону. Недаром эти живущие по соседству мальчишки — Черновы и Грубовы — всегда враждовали друг с другом.

Сквозь мое детство Черновы прошли как бы этакое положительное, созидательное или даже добродетельное начало, а Грубовы — как начало демоническое, прямо-таки мефистофельское. Валька, например, был чистый Мефистофель. Это ведь именно он подсунул подкову в сноп пшеницы, из-за чего едва не остался без руки машинист Андрей Павлович.

До сих пор я удивляюсь, каким чудом никто из нас, по меньшей мере двадцати олепинских мальчишек, не искалечился или не убился насмерть в пору повального увлечения самоделками.

Бралась медная или стальная трубка, бог знает как и зачем попавшая в Олепино и найденная где-нибудь в мусоре. Один конец ее наглухо запаивался, получался готовый ствол. Ствол этот проволокой прикручивался к деревянной рукоятке, скопированной с нагана; в одном месте ствола, сбоку, трехгранным напильником пропиливалась маленькая дырочка.

Чтобы произвести выстрел, надо было набить

ствол серой, соскобленной со спичечных головок (три-пять коробков на один заряд), а также вместо дроби — рублеными гвоздями. Снаружи под проволоку просовывалась спичка так, чтобы головка ее приходилась как раз около пропиленной дырочки. Теперь оставалось взять самоделку в правую руку, выставить ее подальше вперед и вверх, отвернув от себя, чтобы ствол в случае чего летел не прямо в лоб, а мимо, нагнуть голову или втянуть ее поглубже в плечи и чиркнуть спичечным коробком по указанной спичке. Тотчас раздавалось продолжительное шипение, а затем оглушительный выстрел, если не взрыв. Бывало, что рубленые гвозди летели в одну сторону, а запайка ствола, а то и весь ствол — в другую; бывало, что ствол разворачивало вдоль, и он превращался в плоскую железку; бывало, что сера взрывалась в то время, как ее уминали в стволе большим восьмидюймовым гвоздем, и гвоздь, преобразившись в своеобразную, оригинальную пулю, наполовину впивался в потолок. Все это бывало, и я теперь диву даюсь, как случилось, что никто из нас не остался без руки или без глаза.

Нужно заметить, никакого практического применения эти самоделки не имели, ибо невозможно было даже выстрелить в цель. Значит, оставался выстрел сам по себе, звук, огонь, грохот, шипение, запах горелой серы, ну, и как-никак в кармане оружие, которое по-заправдашнему стреляет.

Единственный несчастный случай за все время произошел с Грубовым-старшим, то есть с Николаем, и то потому лишь, что Валька, как говорится, со свойственным ему остроумием потихоньку затискал в ствол самоделки мокрую тряпку. Николаю разворотило мякоть ладони. Показавшись на другой день доктору, он хотел скрыть истинное происшествие и сказал, что на колокольне задел за рваное железо. Но доктора обмануть было трудно. Впрочем, все прошло без последствий.

Николай не зря сослался на рваное церковное железо. Постоянным местопребыванием нашим в пору моей дружбы с Грубовыми мальчишками была

колокольня. Место, где собрать тайный совет перед набегом на чужой огород, место, где тайно затянуться табачищем (прокашляешься — никто не услышит, и голова закружится—отлежишься), место, где набить серой самоделку, место, где скрыться от погони, отсидеться и спокойно съесть уворованные в чужом огороде яблоки, надежное, укромное, романтическое, благословенное место — колокольня.

В ту пору колокола были уж сброшены с нее, лестницы и переводы никто не чинил, не поправлял, и все постепенно приходило в ветхость. Взрослые побаивались влезать на колокольню: как бы не обвалился перевод или не рухнула лестница — разобьешься насмерть.

Была темница «большая» и темница «маленькая». В темнице «большой» в углу свален был старый иконный хлам — проступали из красноватой темноты зеленые божьи лики, золотились венчики. Помнится, там же валялась вырезанная из дерева Богородица, которая скульптурностью своей производила на нас сильное впечатление, пока не была однажды пущена Валькой плавать в пруду; сказано: Мефистофель.

О темнице «маленькой», нам казалось, знаем только мы одни. Было ощущение полной безопасности и безнаказанности, стоило лишь добежать до колокольни и успеть юркнуть в квадратное отверстие, ведущее внутрь ее. На деле оказалось иначе. Самонадеянность наша едва не стоила жизни одному из нас, а именно Бошке.

Около церковной стены лежали два бревна, на которых каждый вечер собирались парни и девушки села и окрестных деревень. Тут они сидели, танцевали, играли разные игры — одним словом, гуляли. Не помню уж, чем мы обидели одного взрослого парня, но он нас не только отгонял от гулянья, но и не подпускал к нему на двадцать шагов, кидаясь палками, обломками кирпичей, а если подойдешь поближе, то и треская по затылку или по уху. Мы обиделись, в свою очередь.

С нами не было Бориса Чернова, который мог бы

обдумать месть во всех тонкостях, но с нами был Валька Грубов, которому устойчивое презрение к роду человеческому вполне заменяло изобретательность.

Целый день мы заготовляли бумажные кульки, какие сворачивают продавщицы магазина, торгуя конфетами, но в кульки мы сыпали не конфеты, а мелкую, как пудра, пышную, горячую от полдневного солнца дорожную пыль. Толстым слоем лежала она на дороге, укатанной тележными колесами.

Кульки носили на колокольню и складывали там рядами, как снаряды или гранаты перед смертельным боем. Мы уж читали в это время и «Чапаева» и «Красный десант», посмотрели и «Красных дьяволят» и «Мы из Кронштадта», так что война нам была не в новинку.

Вечером, как обычно, собралось около колокольни гулянье, даже более чем обычно, ибо было воскресенье, и олепинские парни разослали в соседние деревни записочки, что приглашаем-де сегодня вечером в наше село на «массовое гулянье». Собрались окрестные «массы», то есть человек тридцать-сорок девушек и парней, и началась, по образному Валькиному выражению, «пилка дров», то есть за «Нареченькой» — «Тустеп», за «Тустепом» — «Падеспань», за «Падеспанью» — «Светит месяц»...

Мы засветло заняли места на огневых позициях. С откровенным злорадством глядели мы, в каких чистых, нарядных платьях, рубахах и костюмах собираются «вражеские силы». Холодок волнения тревожил нас, как должно быть перед настоящим боем. Наконец пришел и главный обидчик. Мы услышали это по голосу, ибо смерклось. Рано или поздно нужно было решаться, и Николай, как самый старший, подал команду. Тяжеленькие, плотные кульки полетели вниз. Было слышно, как звучно, со щелчком они лопаются, упадая на землю, а если без щелчка — значит, угодило кому-нибудь на голову или на плечи. Густое облако распространилось внизу, гармонь смолкла, послышались девичий визг, крепкие ругательства, а в следующее мгновение мы

услышали шастанье у входа на колокольню, и свет электрического фонарика заметался по переводам, лестницам и внугренним стенам колокольни. Не растерявшись, мы сбросили на свет фонарика с десяток кульков и разбежались по укромным щелям.

Но, значит, и у взрослых парней был когда-то наш возраст, как и мы, они жили в свое время на колокольне, прошли через эту ступень и знали все наши сокровенные места. Это мы поняли из того, что парни не стали искать там и сям, а полезли сразу в «маленькую» темницу. Все было бы хорошо: ну, поймали нас, дали по хорошей затрещине, пускай даже по две или по три затрещины — до свадьбы заживет. Однако, почувствовав опасность, Бошка реагировал мгновенно, он проскочил между ног парня, загородившего вход, и был таков. За ним погнались, он побежал по переводу и, поскользнувшись в темноте, сорвался, полетел в черную пустоту колокольни...

Позже, когда мы вслух читали «Как закалялась сталь» и в том месте, где ранили Павку, нам попались слова: «И сразу наступила ночь», — Бошка остановил чтение и спросил:

— Как это «наступила ночь»? Наверно, для него одного?

— Конечно, для него, осколок ведь в голову попал.

— А... Я знаю. Тогда на колокольне для меня тоже наступила ночь... И когда с яблони упал, наступила ночь. Я это знаю.

Ни в одной семье я не встречал столь уважительного отношения к своим детям со стороны отца, как в семье Грубовых. Алексей Павлович относился к мальчишкам поистине как мужчина к мужчинам. Это проявлялось главным образом в том, что он лупил их не ремнем, не вожжами, не крапивой, не таскал за уши или за волосы — все это, конечно, было бы очень унизительно, — но по-мужски, с уважением поддавал кулаком, как парень парня в деревенской драке.

Со стремительностью кошек, застигнутых в чу-

жом чулане над горшком сметаны, разбегались в разные стороны мальчишки, всегда узнавая в глазах отца огоньки расплаты, с какой бы невинной улыбкой ни появлялся он на пороге. Значит, что-нибудь тайное стало явным. Либо отцу понадобилась коса, и, сняв ее, он увидел, что лезвие наполовину обломано для того, что годилось на ножик; либо, решив свить веревку, он не нашел кудели, ибо кудель давно уж обратил Валька на плетение кнута, а последнее, как нам известно, оплачено превосходной ватрушкой; либо действительно не хватило в чулане горшка топленой сметаны.

Всегда я вижу этих своих дружков, торопливо, жадно, на ходу уминающих холодную картошку (потому что опоздали к завтраку или к обеду) и спешащих с нетерпением к осуществлению очередного интересного предприятия.

Но возраст брал свое. Постепенно мы пристрастились к чтению. То есть я-то читал почти с младенчества, и, значит, поговорка «с кем поведешься, от того и наберешься», как и все на свете, имеет две стороны.

Началось с того, что я, прочитав «Трех мушкетеров» и живя в мире благородных дуэлей, шпаг и золотых подвязок, решил было приобщить к дуэлям и шпагам Грубовых мальчишек. Постукаться крест-накрест палками они были не прочь, но общего языка у нас не получалось.

— Ты кто? — кричал я разгоряченно, налетая со шпагой на Бошку. — Говори, ты кто?

Бошка молчал в растерянности.

— Дурак, надо при дуэлях называть свое имя! Я герцог Орлеанский, а ты кто?

И, видя его затруднение, уже не тоном игры, а шепотом умолял:

— Ну, придумай себе какое-нибудь имя, скажи!

— А я Синицын! — вдруг выпаливал Бошка, сообразив, в чем дело, и бросался со шпагой на меня.

Согласитесь, не пристало герцогу Орлеанскому драться на дуэли с каким-то там Синицыным, и игра расклеивалась.

Тогда я уговорил Вальку прочитать «Трех мушкетеров», а он, прочитав, уговорил братьев. Но должен сказать, что они как-то не вжились в совершенно чуждый воображению, недосягаемый мир. А может быть, повлияло и то, что вслед за Дюма нам попал в руки Фурманов. Чапаева мы знали по кино, и после того, что каждый кадр, каждый жест Петьки ли, самого ли Василия Ивановича был нами изучен и отрепетирован, прочитать книгу было нам не под силу: она казалась бледнее и скучнее фильма. Но что мы прочитали с упоением и вскоре выучили наизусть, так это «Красный десант».

Там было все, что нам нужно. И длительное тихое подкрадывание, и распределение сил, и стремительный и неожиданный бросок, и горячий бой, очерченный писателем подробно, просто и ярко, так что в глазах у нас так и стояла схема боя, и, наконец, победа. Роли были распределены твердо. Мне, помнится, досталась полная спокойствия и достоинства роль Леонтия Щеткина.

В это время в нашем селе появился Сергей Иванович Фомичев. Но тут я должен сделать отступление и рассказать, что предшествовало и что в какой-то степени послужило причиной его появления.

Мне не вспомнить всех председателей сельсовета, сменяющихся время от времени. Но кто же не запомнил из олепинских жителей Самсона Ивановича Раздольнова! Его привезли из района в лютый мороз, закутанного в тулуп, шарфы и платки и все же посиневшего от холода. Он произвел на меня впечатление бабы, когда сидел на лавке, еще не раскутанный и не пришедший в себя.

Отогревшись, присланный оказался ладным молодым мужчиной, широким в кости, широкоскулым, с квадратным синеглазым лицом. Впоследствии выяснилось, что отец Самсона двадцать пудов затаскивал на колокольню на своих плечах и что, может быть, Самсон и сам затащил бы такой груз, если бы не больная нога. Так или иначе, Самсон стал работать секретарем нашего сельсовета. А известно, что не место красит человека, а человек — место.

Вскоре Самсон Раздольнов подчинил себе председателя и стал как бы властью. Все это было бы, может быть, и неплохо, но с течением времени пришла ему в голову одна идея. Она состояла в том, что он учредил суды. Однажды в неделю, должно быть в субботу (теперь уж никто не помнит), перед сельсоветом устанавливались стол, стулья, скамейки. За столом восседал сам Раздольнов, а вокруг сидели и на скамейках и просто на траве подопечные его — жители села и окрестных деревень.

Жители очень скоро вошли во вкус этих судов, и жалобы потекли рекой. Обозвала, к примеру, одна женщина другую нехорошим словом. Сейчас обидчица несет заявление к Раздольнову. Присудит он немного: от пяти до пятнадцати рублей штрафу в пользу обиженной, но сколько славы, позора, стыда... Реальность наказания (в ближайшую субботу без волокиты и бюрократизма — разбор дела!) была сильной остраской в то время. Достаточно было в самой горячей ссоре одной стороне воскликнуть: «А вот я на тебя Раздольнову!» — как становилось тихо.

Особенный шум и толки вызвал один бракоразводный процесс, который Раздольнов провел с большим блеском. Пожалуй, если бы не было такой доступной возможности посудиться и посчитаться, то никакого развода у этих супругов не было бы. С другой стороны, несмотря на блестящий процесс, окончившийся удовлетворением истцов, то есть разводом, истцы эти и сейчас живут вместе (сошлись через неделю после суда), а так как люди они пожилые, то, бесспорно, доживут вместе до самого конца.

Может быть, в самой идее раздольновских судов и было рациональное зерно, но дело вскорости начало принимать своеобразный оборот. Обиженная или обиженный (что было редкостью) несут жалобу Раздольнову, а обидчица или обидчик несут ему уж не жалобу, а что-нибудь повещественней, как-то: пяток яиц, курицу, утку, рамку меда, кринку сметаны, гуся, маслица — в зависимости от тягости греха и от предполагаемых размеров наказания. Да что нака-

зание — все отдашь, лишь бы не ославиться на всю округу!

Из окон, где обитал Раздольнов, женившись к этому времени на красивой, сильной девушке, постоянно летели на улицу пух и перья (шло ощипывание и разделка даров) и, подхваченные ветерком, распространялись вдоль улиц села. Яйца стояли ящиками, так что я сам видел (от маленьких не таятся), как судья под обыкновенную водку выпивал по пятнадцати сырых яиц за один раз.

Но все же это были тридцатые годы двадцатого века, пожалуй, даже самая середина тридцатых годов, и долго продолжаться такой образ жизни у секретаря не мог. Раздольнова сняли с работы. А вскоре в Олепине появился и новый председатель сельсовета.

Это был высокий, стройный, еще очень молодой на вид мужчина. Но говорили, что он успел повоевать в гражданскую войну и будто бы та ладная, почти до земли шинель, тем более красиво сидевшая на хозяине, что был он действительно высок, а шинель носил без ремня, что будто она осталась у него как раз от гражданской войны.

Впрочем, я больше всего помню Сергея Ивановича Фомичева в белоснежной рубахе, с закатанными рукавами и всегда отутюженных, с острым рубчиком брюках. Шаг его был — сажень. С любовью, которая появилась как-то очень скоро, колхозники шутили:

— Пошел Сергей Иванович поля саженью мерить!

Каждое утро — зарядка (легко делал на перекладине «солнышко»), купание в Поповом омуте (плавал брассом), а потом — по полям, по деревням, к каждому мужику подойдет, посидит рядом с ним, поспрашивает, посоветуется.

Колхозы тогда были маленькие: в одном сельсовете не как сейчас — не один колхоз, так что неизвестно, кто важнее: председатель колхоза или председатель сельсовета, а десять-двенадцать колхозиков, и сельсовет, перед которым они все отчитыва-

лись, играл большую роль. Правда и то, что не место красит человека, а человек — место.

С Сергеем Ивановичем Фомичевым связывается у меня процветание нашего села. Народу в селе туча, молодежи в каждом доме по два, по три брата; пошли в моду велосипеды и патефоны; по деревне частушки, по радио Утесов с Руслановой поют...

Среди прочих дел у Сергея Ивановича нашлись и время и охота обратить взгляд на мальчишек того села, в котором ему пришлось работать. Взгляд его упал, как это ни покажется странным, на самое беспокойное мальчишечье ядро, а именно на братьев Грубовых и их окружение. Пожалуй, больше всего именно на Вальку обратил внимание Сергей Иванович.

Однажды Валька пришел за мной какой-то не такой, весь собранный, серьезный.

— Пойдем скорее, Фомичев велел к нему на дом прийти.

Тотчас мы побежали.

Сергея Ивановича мы нашли в маленькой чистой светелке, в которой он жил, так как было лето. На столе, на полу, на тесовой полочке — всюду лежали и стояли книги.

Расспросив нас, как мы учимся, да что делаем по дороге от села до школы (четыре километра каждый день туда, четыре — обратно), да чем занимаемся в каникулы, да какие книги читаем, он дал нам книгу с названием, показавшимся нам совершенно неинтересным.

Мы вышли от председателя окрыленные, возбужденные, готовые сейчас сделать ради него все на свете (мальчишки ценят, если поговорить с ними серьезно, как со взрослыми), а с другой стороны, предстояло читать какую-то скучную книгу про то, как закаляется какая-то там сталь. Однако мы дали слово, и читать было нужно.

Сейчас за давностью лет трудно передать впечатление, произведенное на нас книгой. «Красный десант», мушкетеры и графы — все было забыто. Можно восхищаться подвигами взрослых и завидо-

вать им, но что делать, если герой — такой же мальчишка, как и мы сами? Чувство, что мы безнадежно опоздали к чему-то главному, о чем остается нам читать в книгах, не покидало нас.

Сергей Иванович был последовательным человеком. Книги были, по-видимому, первым шагом к приручению мальчишек-сорванцов, вступающих в сложный подростковый возраст.

— Хочу с вами посоветоваться, — сказал однажды Сергей Иванович, — надо бы устроить посреди села гигантские шаги, но вот где взять столб?

Не зная, что такое гигантские шаги и зачем они понадобились посреди села, мы, однако, обрадовались возможности помочь председателю и заявили, что если нужно, то завтра столб будет на месте.

В лесу свалили мы (как бы случайно оказался с нами кузнец Никита Васильевич) нужной величины сосну, обрубили у нее сучья, обделали все лучшим образом, ибо и Черновы были вовлечены в работу, и постепенно, занося то один конец, то другой, с шумом, с гамом перетащили кое-как столб из леса в село.

Когда была вырыта яма и столб с вертушкой наверху установлен прямо и прочно, а к крючкам вертушки прицеплены толстые новые канаты, наступил праздник. Никто не знал сначала, как нужно кататься на этих гигантских шагах, и длинноногому председателю самому пришлось демонстрировать столь невиданный ни в кои веки в селе Олепине способ развлечения. Но очень скоро мы не только научились кататься, но и приспособились «подносить» друг друга длинными кольями кверху так, что Сергею Ивановичу пришлось умерить наш пыл из боязни, как бы шаги не превратились в орудие убийства.

Возле гигантских шагов вскоре появилась площадка с городками, а потом в сельсовете нашелся волейбольный мяч, и нам, незаметно для нас самих, стало совсем некогда ни палить из самоделок, ни лазить по колокольне.

На другой год Сергей Иванович обещался привезти малокалиберную винтовку и всех нас научить

стрелять. Но на другой год я уехал учиться в город, и олепинское детство для меня навсегда кончилось.

Последняя встреча с Валькой Грубовым у меня была такая. В техникуме, где я учился, вахтер передал мне записку: «Володя, мы с Васей Кузовым в школе № 5. Надо бы попрощаться».

Школа номер пять была поблизости от техникума, и я немедленно помчался туда. Во дворе школы, в коридорах, в классах — всюду на своих чемоданах и мешках, и на земле, и на полу, и на партах, и на подоконниках сидели новобранцы. Был сентябрь — третий месяц войны.

Ребята увидели меня первыми, поскольку я шел в рост меж сидящих, и окликнули. Невеселая это была встреча. Совсем недавно мы играли в красный десант и думали, что история обошла нас, все совершив и позвав ко всему готовому. Семнадцатилетние мальчишки, дружки мои, которых Фомичев так и не успел научить стрелять, уходили фактически прямо на фронт. Я был всего лишь годом моложе их, но то, что они, остриженные под нулевку, с вещмешками сидели в здании школы и ждали отправки из города, а я еще оставался, сделало их гораздо старше меня. На чемодане разложили они олепинскую домашнюю снедь: вареное мясо, яйца, лепешки, лук. Мы поели. Валька, зная, наверное, как живут студенты, отрезал кусок вареной свинины и дал мне с собой, сказав:

— Мы едем на казенный харч, там голодом не заморят.

Они, Валька с Васей Кузовым, так и служили и воевали вместе. На глазах у Васи и погиб Валька Грубов.

— Под Воронежем, — рассказывал Вася, — как прижал нас немец, мы отбиваться. Валька за бугром из миномета палил. Вдруг меня зовут. Гляжу, лицо у него все разворочено, а сам он лежит и глядит на меня. Он ведь глупо погиб: одна мина из миномета не вылетела, а он другую в ствол опустил. В горячке боя все бывает. Сам знаешь, что после

этого могло произойти. Отшибло ему напрочь нижнюю челюсть. Он глядит на меня жалостливо, глазами на флягу показывает — пить просит, а сам не знает, что пить-то ему уж нечем. Ну, потом унесли его...

Бошка перед уходом в армию выправился в кряжистого, крепкого паренька, с удивительными темно-синими глазами, каких я не встречал потом не только у мужчин, но и у женщин. Ему тоже было семнадцать лет, когда уходил в солдаты. Матери он писал: «Все идем и идем, а погода очень сырая. Портянки сушу у себя на груди под рубахой».

Про письмо мне рассказала его мать — тетя Нюша, которую сильнее всего поразила именно эта бытовая деталь: сушение портянок под рубахой, и она часто говорила об этом вслух, всплескивая руками и плача: «Застудит грудь-то, хоть бы он выжимал их сначала...»

Кажется, не было похоронной, вот почему тетя Нюша долго после войны ждала своего младшего сына. Ей все снилось, как он возвращается в село. «Все будто ноги на крыльце вытирает. Долго вытирает, а я кричу, чего вытирать, заходи уж так. Я один раз веником его огрела за то, что грязь на ногах принес, вот, значит, он ноги-то все и вытирает».

Странно, но мне раз шесть с разными подробностями снилось, как Борис Грубов возвращается в Олепино. Я рассказал об этом тете Нюше. Она обрадовалась совпадению так, как будто уж пришло от сына письмо или другая какая весточка. Но это было в первые два года. Вот и еще двенадцать лет прошло, и ни мне, ни самой тете Нюше больше не верится в чудесное возвращение Бошки.

Старший из трех братьев, Николай, остался жив. Он женился и живет на стороне. Алексей Павлович и тетя Нюша уехали из Олепина, продав иструхлявевший домишко свой на дрова за две с половиной тысячи.

Я думал, что на месте дома останется зиять не-

приятная пустота. Но Николай Жильцов, женившись и отделившись от отца, построил на этом месте новую избу.

* * *

...Двухэтажный пятистенный дом с каменным низом. Одну половину его занимала большая семья Ворониных. Илья Григорьевич, теперь слепой старик, недавно уехал во Владимир к дочери; тетя Прасковья померла; другие дочери Ильи Григорьевича, как-то: Вера, Липа и Анна, — а также сын Владимир — все живут по разным городам, теперь уж своими семьями. Дольше всех жила в отчем доме младшая дочь Ильи Григорьевича — Нина с мужем Виктором Михайловичем Некрасовым, через руки которого, добрые учительские руки, прошли поколения олепинских жителей и жителей из окрестных деревень. Недавно Нина и Виктор Михайлович уехали во Владимир. К ним-то и переехал жить слепой Илья Григорьевич.

Сейчас всю половину Ворониных — и верх и низ — купил новый наш председатель колхоза Александр Михайлович Глебов. Тут я должен сказать несколько слов о нашем колхозе вообще.

Он образовался в 1930 году, и, так как мне было тогда шесть лет, я, конечно, не могу помнить в подробностях, как именно он образовывался, кто из мужиков голосовал за колхоз первый, а кто упирался и упрямился долее других.

Помню, что, впервые услышав слово «колхоз», я обратился за разъяснениями к матери и очень отчетливо до сих пор помню, что она мне ответила. Возможно, она нарочно упрощала дело, чтобы мне было понятнее, но, скорее всего, именно таким было понятие о колхозе и у нее самой, а может быть, и у других крестьян села.

— Колхоз — это вот что, — объясняла мать. — Соберемся все дружно, всем селом, и выкопаем картошку сначала у Ефимовых, потом все дружно перейдем и выкопаем картошку у Пеньковых, потом все придут и дружно выкопают картошку у нас.

И так по всему селу. Это ничего, — продолжала мать уже в некоторой задумчивости и, значит, более для себя, чем для меня, — это ничего, так жить будет можно, плохого тут нету.

На первом же собрании село разделилось на два лагеря. Тринадцать домов записалось в колхоз, остальные раздумывали и колебались. Тогда-то и ходил по домам Володя Постнов и пел, переиначивая слова:

Владеть землей имеем право,
А единоличники никогда...

В селе постоянно жили уполномоченные, каждый день собирали они собрания, одно шумнее другого. Надо было, чтобы все вступили в колхоз «в кратчайшие сроки».

Два, очевидно главных, уполномоченных определились на постой в нашу избу и жили у нас так долго, что я успел к ним привыкнуть и даже подружился с ними. Они были полная противоположность друг другу. Один из них, по фамилии Иринин, — высокий, с бледно-красноватым лицом, с холодными синими глазами и седым коротким ежиком на голове — был однорук, именно этому обстоятельству я приписывал суровый, неразговорчивый, замкнутый характер Иринина.

Другой — Лосев, — невысокий, чернявый, подвижный, не то чтобы полный, но вовсе не худощавый, лысоватый человек, был шутник и весельчак. Кроме того, он любил играть на скрипке и даже в такую командировку привез с собой скрипку. А так как он особенно любил играть в две скрипки, то постоянно к нам в избу был приглашаем пономарь, невысокий седенький старичок по фамилии Надеждин, с которым они и играли под укоризненные аскетические взгляды Иринина.

Теперь я понимаю, что оба они были хорошие коммунисты, но в то время Иринин чувствовал и считал себя, видимо, более коммунистом, чем его напарник.

Была жестокая снежная зима с окаянными ноч-

ными метелями. Поздно ночью возвращались друзья в наш дом, иззябшие, занесенные снегом, с красными от табачного дыма (на собраниях), от тусклой керосиновой лампы и просто от усталости глазами. Стряхивали с себя снег, пили чай, а потом ложились спать, перекладывая из карманов под подушки черные глазастые наганы.

Я совершенно не понимал тогда, о чем так горячо и так подолгу спорили между собой Иринин и Лосев после каждого собрания. Но уж доходило до сознания мальчишки, что Лосев убеждал Иринина быть подобрее и помягче. Выражение вроде того, что «силой не возьмешь», «надо доказать, убедить», «потеряем доверие народа», «перестанут верить большевикам», может быть, и не доподлинные по своим формулировкам, но верные по смыслу, сохранились в моей памяти.

— А отчитываться кто будет? С нас же спросят.

И вот какую фразу Лосева я запомнил полностью, потому что уж тогда дошел до меня каким-то образом весь ее характер:

— А шут с ним, с отчетом, в конце концов нам важно создать хороший колхоз, а не хороший отчет.

Ясно, что в условиях того времени Лосев и Иринин вскоре были отозваны, а на их место приехал один человек, а именно Хомяков, который, значит, стоил двоих. Я не знаю, как он вел собрание, но прибегала к нам тетя Поля Московкина в слезах и плакалась:

— Батюшки мои, родименькие, да как же я теперь усну? Как почал он орать, а глотка-то, видать, луженая, да как начал кулачищем по столу, а рукав-то засученный по локоть, а рука-то волосатая!

В один вечер все мужики до единого были записаны в колхоз, но как только уехал довольный Хомяков, половина тотчас выписалась из колхоза.

Тогда в селе опять появились знакомые наши Иринин и Лосев. Иринин сделался гораздо мягче и ласковее, чем в первый приезд (я судил, конечно, по отношению ко мне, мальчишке), в частности, он стал дарить мне иногда мятные пряники.

Однажды Лосев, придя с собрания, схватил меня на руки, положил на ладонь и так поднял к потолку.

— Э, брат, да в тебе больше пуда! Колхоз-то все же мы организовали, — весело сказал он вдруг мне, барахтающемуся у него на ладони, — и назвали «Культурник». Понимаешь, нету?

Иринин захохотал на последние слова, ибо «понимаешь, нету» была любимая приговорочка, любимый сорнячок Хомякова, и теперь Лосев, значит, передразнивал его. Смех Иринина для меня был более неожидан, чем озорная выходка Лосева.

С тех пор, если не брать последние пять-шесть лет, во всякое время в селе сидел какой-нибудь уполномоченный. Надо послать людей на лесозаготовки — уполномоченный, посевная — уполномоченный, уборка — уполномоченный, картошка — уполномоченный, овес — уполномоченный, заем — уполномоченный, перевыборное собрание — уполномоченный. Но странно, что все они для меня теперь безликая вереница людей, кроме самых первых уполномоченных — Иринина и Лосева. Потому, наверно, что на долю этих людей выпала не роль мелочной опеки колхозников и не мелкая роль так называемых «толкачей», но надо было им совершить почти непосильное: убедить мужиков, закоренелых, пусть и микроскопических собственников (деньги на лошаденку копил семь лет, выбирал лошаденку на семи базарах, кормил лошаденку семь голодных зим, а теперь веди со двора ни хотя бы за ломаный грош), надо было убедить их, что отдать лошадь, отдать сарай, отдать, наконец, землю выгодно будет для самих же мужиков. Надо было убедить их (моя хата с краю, я ничего не знаю), что «мы» — это лучше, чем «я», и что радостно приобщиться к великой силе коллектива.

Задача хотя бы в какой-то степени облегчалась тем, что знакомо было по «миру» словечко «сообча», так что, может быть, на первых порах и не надо было углубляться в теоретические глубины, а твердить мужикам одно, что сообща работать легче и если

будут они и жить и работать сообща, то им же самим будет лучше.

Так или иначе, два коммуниста — Иринин и Лосев — совершили в селе Олепине и прилегающих к нему деревнях тот революционный перелом, который мы называем коллективизацией.

В Олепине колхоз назвали «Культурник», в Курьянихе — «Показатель», в Прокошихе — «Путь к социализму», в Шунове — «Красный авангард», а калининские мужики (так я и не узнал по прошествии многих лет, когда появилось у меня желание узнать, кто же первый выкрикнул из мужиков) дали колхозу ласковое название «Зеленый лужок».

Волна коллективизации докатилась до Олепина немного позже, чем, например, до центральных черноземных земель, и первоначального азарта, когда тащили в одно место и коров, и овец, и кур, и гусей, и уток, и чуть ли не ложки и плошки, олепинские мужики избежали. В несколько дворов — еще не было своего колхозного — свели лошадей, свезли в одно место телеги, засыпали семенной фонд и стали крестьянствовать «сообча».

Трогательно это первое наивное стремление все до капельки разделить поровну, и если появлялось в колхозе два ведра постного масла, то хоть по стакану, а нужно было раздать его на трудодни. Поэтому списки того, что раздавалось на трудодни, были длинны и обстоятельны: гороху — по сорок граммов, вики — по шестьдесят, меду — по четыре грамма, высевок из-под триера — по двадцать пять.

После каждой, ну, что ли, кампании, или, по-старому говоря, страды, после покоса, навозной, жнитва, устраивали в селе складчины, то есть пускалась шапка по кругу, а посреди села, на зеленой траве под ветлами, устанавливались в длинный ряд столы.

Несколько женщин (чаще всего тетя Агаша, да тетя Поля, да еще кто-нибудь к ним в придачу) брали на себя все хлопоты по столу, как-то: в огромных бельевых чугунах, называемых корчагами, тушили картошку с бараниной, пекли пироги, готовили зеленый лук и разделывали селедки.

Деревенские люди предпочитают крепкое вино, а пьют его преимущественно из стаканов, так что тот первый период, который длится обычно от момента, когда гости сядут за стол, до момента, когда запоют песни, во время складчины был недолог. Дмитрий Бакланихин растянет мехи у гармони, и звонкий бабий голос, не мешкая ни секунды, вплетется в игру и стремглав взлетит ввысь, как если бы гармонь выпустила его из своих добрых, просторных рук. Где песни, там и пляска. Пошли мелькать над головами разноцветные платки в бабьих руках, пошли перебивать друг друга бойкие частоговорочки.

Обычно в конце концов не хватало вина, и бабы, зная, что у того или иного человека водятся деньги, налетали и начинали качать и тютюшкать избранного и качали и тютюшкали до тех пор, пока он не раскошеливался и не выкладывал еще на пол-литра или на литр, в зависимости от своей наличности.

Почти в каждой избе появились тогда патефоны, велосипеды и детекторные приемники. Чисто, по-городскому стала одеваться молодежь, катаясь вдоль села на велосипедах. К вечеру пять-шесть патефонов как начнут играть наперебой, который — «Раскинулось море широко», который — «Саратовские страдания» («Дайте лодочку, моторочку, мотор, мотор, мотор...»), который — «Тирольский вальс», который—«У самовара я и моя Маша», который — «Если завтра война»...

Начали доходить слухи, что в городах появились какие-то западные танцы, и олепинские девушки с недоумением глядели, как приехавшие из Москвы дачник и дачница семенили в беспорядочных направлениях мелким шажком, как если бы на цыпочках, по пыльному гулянью, как бесцеремонно дачник то вертел дачницу из стороны в сторону, то наскакивал на нее, набегая и даже наклоняя ее и сам наклоняясь над нею, то приподымал от земли.

Внимательно читая газеты, можно было предполагать, что война все ближе и ближе подбирается к нашим границам. Но как и для больших городов,

как и для других сел и деревень, война над Олепином ударила, словно гром среди ясного полдневного неба.

Помню, председателем сельсовета тогда был Николай Федорович Ломагин, тот самый, которому я ставил некогда радиоприемник, который напоил меня пьяным и который к каждому слову говорил «та-шкать», вместо «так сказать».

Николай Федорович в день объявления войны собрал митинг и произнес речь. Конечно, я теперь и задним числом мог бы в общих чертах написать речь председателя, ибо можно предположить, о чем он говорил в тот день. Но чего не помню, того не помню. Врезалась мне в память одна лишь горькая в конечном счете фраза:

«Ну что же, товарищи, я, та-шкать, думаю, что мы в Петров день будем, та-шкать, в Берлине чай пить».

Говоря это, он искренне верил в свои слова, и не его вина, что все оказалось гораздо, гораздо сложнее.

Приехавший вскоре племянник Владимира Сергеевича Постнова Славка Луковников, московский мальчишка с Большой Полянки, взахлеб рассказывал, как сбрасывают с крыш зажигалки, и как закрасили все московские дома, и как задержали диверсанта около Крымского моста, и какие бывают аэростаты-заграждения, и как будто бы на его глазах прожекторы поймали черный крестик немецкого самолета, и как после этого самолет задымился и полетел вниз.

В августовские ночи на западе, там, где, если лететь птицей, должна находиться Москва, в черном небе начинали вспыхивать остренькие мгновенные золотые звездочки. Уж все знали, что это рвутся зенитные снаряды. А иногда красноватым клином озарялось ночное небо от лопнувшей тяжелой фугаски. Но тиха и безмолвна лежала ночь. Коростеля, кричащего у реки, было слышно четко и явственно.

И звездочки и красноватые вспышки появлялись в полной тишине, как если бы в немом кино или как если бы люди оглохли.

Между тем в село одна за другой начали приходить похоронные.

Сам я в то время тоже стал солдатом и в течение четырех лет не знал, что делается в родной деревне. Весной сорок шестого года, приехав на побывку, я увидел довольно плачевную картину: колхозники выкапывали из земли прошлогоднюю, перемерзшую и полусгнившую картошку, которую не успели выкопать осенью. Так как в обычном виде такая картошка в пищу не годилась, то крестьяне придумали превращать ее в некое грязноватого цвета месиво, называемое «трахмал» (крахмал), из какового трахмала и пекли грязноватого же цвета безвкусные лепешки.

Дело доходило и до извечного, как бы даже символического для обозначения голодного года растения — лебеды. Надо ли говорить, что жестокая засуха сорок шестого года усугубила положение.

Но, конечно, из всех причин, приведших сельское хозяйство к неблагополучию, засуха была не самой главной. Иначе не потребовались бы семь-восемь лет спустя срочные, чрезвычайные меры по крутому подъему сельского хозяйства, выраженные в мудрых и благодатных решениях партии. Тогда было бы все очень просто.

Прежде чем прийти к решениям, партии пришлось вскрыть основные причины и проанализировать следствия этих причин. Вопрос достаточно сложен, чтоб не в специальной научной книге, а в лирических записках обойтись без некоторого, может быть, упрощения и приведения к прозрачной короткой схеме, объясняющей существо дела. Кроме того, я не ручаюсь, что в сложном клубке причин, вскрытых и проанализированных партией на сентябрьском Пленуме по вопросам сельского хозяйства, в сплетении разных ниточек ухвачусь сразу за главную и вытяну именно ее, но вот некоторые из них.

Жесткое планирование сверху, спускаемое кол-

хозникам в порядке непреложных директив, не посоветовавшись, не обсудив, не выявив самого выгодного варианта: картошки посеять столько-то гектаров, гречи — столько-то, пшеницы — столько-то, а льна не сеять совсем, а вики не сеять совсем, а ржи— столько-то, а кок-сагыза — столько-то, — из года в год постепенно подтачивало и убивало в колхознике интерес к своему кровному, к своему единственному в жизни делу. Он видит: год складывается такой, что хорошо уродится лен, разольется голубыми озерами меж березняков, темно-золотистый, позванивающий, поднимется он и встанет стеной, и сколько тут будет и волокна и масла! Расчетливый колхозник пустил бы в этот год на колхозных полях немного побольше льна и немного поменьше картошки или гречи. Но цифры, спущенные сверху, непреложны, и надо делать так, как велят. Тогда колхозник махнет рукой и скажет: «Ну, ладно, я сделаю, а там уж забота не моя». И сделает, конечно, без охоты и рвения.

А тут другое дело. Весна задалась такая поздняя и холодная, что сев надо бы оттянуть ну хоть на одну неделю, тогда и урожай был бы лучше. Но непременно надо закончить сев к такому-то мая, ибо району нужны сводки, чтобы выйти на первое место в области (по сводкам) и отрапортовать, а если не выйти на первое место в области, то хотя бы не остаться на последнем; области, в свою очередь, надо опередить Рязань и Ярославль, чтобы отрапортовать, и вот ездят уполномоченные, нажимают, ругаются, требуют. Тогда колхозник говорит: «Ну, ладно, я сделаю, а там уж забота не моя». И делает, конечно, без охоты и рвения.

Но ведь если он хотя бы десять раз в году скажет «забота не моя» да если это помножить на десяток лет, то вот уже и психология!

Интерес к делу подтачивался и тем (вторая ниточка), что уродившееся на колхозной земле нужно было сдавать государству практически бесплатно. Впрочем, даже лучше, если бы совсем бесплатно, тогда было бы колхознику ясно, что это надо отдать го-

сударству — и точка. Но когда за центнер (сто килограммов) ржи тебе дают девять рублей, то это уж как бы оценка самого труда колхозника, оценка несправедливая и обидная, тем более что тот же колхозник покупает в лавке ту же самую муку по три рубля за килограмм, то есть уж не по девять, а по триста рублей за центнер.

Соответственно за тонну картошки колхоз от государства получал тридцать рублей (3,6 копейки за килограмм), литр молока ценился в 15 копеек.

К чему же пришло дело? К тому, что хлеб стал родиться плохой, картошка по осени наполовину оставалась в земле (подумаешь, добро — тридцать рублей за тонну!), захудалые коровенки давали по четыреста литров в год, и были годы, когда в нашем колхозе на курицу-несушку (за целый год!) приходилось по три яйца.

Потянув как следует за эту ниточку, мы вытянем другую, состоящую в том, что раз колхоз мало производил продуктов и раз он ничего не получал за то, что производил, значит, он был беден, значит, он не мог обеспечить благосостояние колхозников, то есть, короче говоря, он не мог заплатить им за работу. Трудодень превращался в формальность.

Ниточка вытягивает ниточку. Раз мне ничего не дают на трудодень, думал колхозник, за мою работу, зачем же я буду трудиться в поте лица? К чести колхозников надо сказать, что они все равно работали, хотя интерес их к колхозной земле, к колхозному труду был резко ослаблен.

Вот, значит, показалась и еще одна ниточка: колхозники обратились к своим приусадебным участкам, чтобы лучше их обработать и вырастить на них как можно больше картошки, свеклы и капусты: надо будет прожить долгую зиму. Невольно своя корова, свой поросенок, свой сад, свои овцы, своя картошка сделались дороже, чем овцы, поросята и коровы колхозные. Вот как обернулась в селе политика заготовительных цен, или политика жесткого планирования сверху.

Итак, колхозники обратились к своим личным

приусадебным хозяйствам. Но и эти хозяйства все равно не могли процветать, а постепенно приходили в упадок. Брали налог за каждую яблоню или за каждое вишневое дерево — и деревья вырубались с корнем, чтобы за них не платить. С лица земли исчезали целые сады. Брали налог за корову — и коровы поредели, деревенское стадо состояло почти из одних коз.

Я вспоминаю, как известный очеркист Василий Титов вопрошал со страниц журнала, куда подевалась традиционная, так называемая романовская овца и почему ее не видно на луговых привольных пастбищах. Если бы он спросил об этом не один раз, а сто, все равно овец от этого не прибавилось бы, как их и на самом деле не прибавилось в то время.

Но теперь я вижу на улицах Олепина, когда гонят стадо, множество романовских овец, возникших как бы по движению волшебной палочки за два-три года. Исчезли налоги — появились овцы — простейшая механика.

Итак, я заговорил о том, что и приусадебное хозяйство колхозника не могло процветать: процветание сдерживалось и ограничивалось разнообразными налогами. Клубок, размотавшись, обнажил последнюю нитку, люди потекли из деревни в город.

Это, конечно, схема, а картинки тут могли быть самые разнообразные. Вот бригадир неуверенно заходит в избу в момент, когда семья пьет чай.

— Значит, это, Анна Ивановна, как его, в общем наряд копать картошку.

— Ах ты, бесстыжие твои глаза, как же, держи карман шире! Сейчас вот только разуюсь, чтобы легче идти было. Картошку ему копать! Да у меня вон свой загон некопаный. Уходи, уходи, и чтобы и духу твоего не было! Сказано, не буду ходить на работу — значит, не буду!

Бригадир после этого, однако, не уходит, а садится на лавку, просит у хозяина табачку, заводит разговор о том, о сем.

— Ну так, значит, Анна Ивановна, я пойду. Значит, за конным двором картошка-то, копать ее надо.

— И не проси и не проси, не пойду, хоть режь!

— Ладно, оштрафуем на пять трудодней, — равнодушно, сам не веря в эту меру наказания, говорит бригадир.

— Да черта ли мне в твоих трудодях? Штрафуй хоть на пятьдесят! — вновь вдохновляется колхозница.

— Ну да. Значит, весной, как понадобится пахать тебе свою усадьбу, придешь ко мне лошадь просить, а я и не дам. Или за дровами зимой — тоже лошадь нужна.

— Дашь, — смеется колхозница, — пол-литра поставлю — и дашь, али я тебя не знаю?!

Однако сердце ее размягчается, и видно по всему, что, может быть, она и сходит сегодня на колхозную работу.

— Ну, так, значит, я, Анна Ивановна, пойду. Загон-то за конным двором, там уж ее, чай, начали копать, картошку-то.

...Вот под осенним дождичком среди поля ржавеет какая-то машина, не то культиватор, не то сеялка — издали не разберешь, а подойти поближе невозможно: ноги увязают в размокшей холодной земле. Эта машина так и будет стоять среди поля, пока не замерзнет земля. Тогда, может быть, ее вырубят из мерзлой земли и увезут, но скорее всего никто вырубать ее не станет, и так она и останется среди поля в зиму.

...Вот груды льна под открытым небом, который посеять посеяли, и даже выдергали, и даже сложили в кучку, но так и оставили гнить, не выколотив хотя бы льняного семени, а стоит он не меньше ста тысяч рублей. Весной при пахоте он будет мешаться, и его без дрожи в руках подожгут, и весь он сгорит, на всю округу накурив душистым синим дымком.

...Владимир Константинович Клепиков, популярнейший в наших местах человек, недавно рассказал мне, как он провел первый день в колхозе, когда принял председательские дела в селе Черкутине, то есть в четырех километрах от нас.

Если бы я писал не документ, а чистую беллетристику с вымыслом, то, конечно, я ради художественной выразительности тотчас перенес бы этот случай в Олепино, являющееся, ну, что ли, главным героем книжки. Надо ли жалеть, что дела в Олепине все же были не так вопиюще безотрадны, как, скажем, в соседнем Черкутине, и нашему новому председателю не пришлось начинать с того, с чего начал Клепиков. Однако вот как было дело.

Приняв дела, Клепиков пришел с утра на молочную ферму, или, правильнее будет сказать, на скотный двор, где содержались колхозные коровы. «Смотрю, — рассказывает Владимир Константинович, — коровы стоят чуть повыше, чем по колено, в жидкой навозной грязи, так что подойти к ним невозможно. Как же, думаю, пойдут сейчас доярки? Пришли доярки. Тотчас они сняли с себя юбки и в одних штанах, то есть в одних женских панталонах, устремились к бедным коровам. Ясно, что обмывать вымя у коров было бесполезно, поэтому молоко в подойниках, когда доярки выходили со двора, было с шоколадным, а точнее с навозным, оттенком. В дальнем конце сарая, — продолжал рассказ Клепиков, — доярки показали мне: лежала в жиже дохлая корова. Она лежала там вторую неделю, собаки отъели у нее щеку и немного поцапали бок, то есть те места, которые выступали из навозной жижи. В первые секунды я просто возмутился, но тут же подумал, что теперь ведь это хозяйство мое и рано или поздно дохлую корову надо вытаскивать. Не лучше ли с этого и начать?

Я подозревал, что если сказать прямо, то никто из колхозников варакаться в навозе не будет. Захожу в одну избу, сидит здоровый мужчина, читает газету.

— Приходи на ферму, там будет небольшое совещание, — сказал я ему.

Мужчина начал одеваться. Таким образом я пригласил шесть человек. Все они пришли в резиновых сапогах, в рабочих куртках, а я, конечно, еще по-городскому: в туфлях, хороших брюках и габардино-

вом летнем пальто. Сколько бы я ни упрашивал пришедших мужиков лезть за коровой, сколько бы я туда ни посылал, они все равно не полезли бы. Оставалось одно:

— Коммунисты есть?

Вышли два человека. Сам я тоже коммунист.

— Ну что ж, товарищи коммунисты, пошли!

И нарочно, не сняв даже пальто, которое в общем-то можно было снять, первый полез к корове. Чтобы ухватить корову за хвост, пришлось по локоть окунать руку в грязь. Все шесть человек оказались тут же. Оттащили корову подальше на лужок, изваракались все, стоим, смотрим друг на друга и смеемся. И — черт возьми! — радостно ведь смеемся, как будто и правда вернулись живы-здоровы из смертельно опасной атаки, как все равно разрядка какая произошла, и мы поняли друг друга не на одну минуту, а навсегда.

— Скоро здесь будут деревянные полы, а доярки будут ходить в одинаковых синих халатах и красных косынках.

Конечно, хохот поднялся среди доярок в ответ на мои слова». — Клепиков замолчал и задумался.

Мне не надо было расспрашивать его, появились ли деревянный пол и красные косынки, потому что я знал, что этот человек за три года так сплотил людей колхоза, так повел дела, что колхоз сделался чуть ли не передовым, и слава о нем пошла по окрестным деревням, и вырос новый, огромный, светлый скотный двор с подвесной дорогой, деревянным полом и электричеством, и дояркам не надо было снимать юбки, чтобы идти доить коров, но стали они ходить в одинаковых синих халатах и красных косынках, а коровы стали давать в три раза больше*.

---

* Кстати сказать, история Владимира Константиновича Клепикова могла бы послужить основой для повести или пьесы с конфликтом. Поднятый им из помянутой грязи и выведенный на светлую дорогу колхоз преобразовали в совхоз, и в этом не было бы ничего плохого. Плохо то, что Клепикова, прикипевшего душой и к людям и к делу, не оставили директором совхоза, а назначили другого, оказавшегося горьким пьяницей.

Итак, олепинский колхоз был получше и почище черкутинского, и нашему новому председателю Александру Михайловичу Глебову не пришлось в первый день лезть самому за дохлой коровой, но грязь из коровников все равно выгребать было нужно, и все равно люди отказывались идти на работу, да и людей-то самих — раз-два и обчелся.

Несомненно, Александр Михайлович Глебов — человек со стороны, непьющий, с ровным, выдержанным характером, сам деревенский, но работавший начальником автобазы во Владимире, то есть научившийся и административным приемам, — такой человек не мог не повлиять на течение колхозных дел.

Однако только Клепиков или только Глебов ничего не смогли бы сделать, если бы не были созданы Центральным Комитетом партии общие условия, благоприятные для укрепления любого колхоза. Те ниточки, которые мы только что печально вытягивали и разматывали одну за другой, можно перебрать снова, и вот что они расскажут.

Жесткое, непреложное планирование сверху упразднено. Конечно, анархию в сельском хозяйстве допускать нельзя. Государство не может остаться к осени с одной гречей, но без масла или с одной картошкой, но без молока. Но колхозникам дана самостоятельность решать и варьировать; всякий раз председателя вызывают в район и там вместе обсуждают с ним, «обкатывают» планы и прежде и после того, как он обсудит их на правлении или на собрании колхоза. Это не могло не увеличить интереса к делу.

Вместо того чтобы полученные с колхозной земли продукты сдавать практически бесплатно, колхоз

Его, правда, вскоре сняли и назначили нового, говорят, неплохого директора, да все не Клепикова! Клепиков плакал, как мальчишка, когда уезжал из Черкутина. Иногда за двести километров, из Гусь-Хрустального, приезжает он на «Победе» в село просто так: поглядеть, поговорить с мужиками. Все его знают, бегут к нему навстречу, как к самому родному человеку. В Гусь-Хрустальном Клепиков работает заместителем директора завода.

продает их теперь государству по хорошим ценам. Так, молоко стоит уже не пятнадцать копеек литр, а один рубль двадцать копеек, а в зимний сезон — так и рубль сорок. Разведение коров стало не только плановой необходимостью, но и выгодным делом. Вместо семисот литров в год коровы стали давать по три тысячи литров, и колхоз продал государству не девяносто тонн молока, а двести сорок тонн и получил за это молоко уж не десять тысяч рублей, а полмиллиона. Да еще картошка по тысяче рублей за тонну (помните, стоила тридцать), да еще хлеб по девяносто пять рублей за центнер, да еще мясо по восемь рублей за килограмм...

Мне приходится выписывать слишком много цифр, но как быть, если иные цифры лучше объясняют дело, чем целые страницы самой красивой беллетристики! Вот, например, маленькая табличка, которую я срисовал в нашем олепинском клубе. Речь идет в таблице о центнерах того или иного продукта на каждые сто гектаров пашни. Сейчас эта мера является самой распространенной:

	1953 г.	1958 г.	Процент роста
Молоко	60,7	203	334
Мясо	10,9	21,1	193
В том числе свинины	1,7	4,8	276
Общий доход колхоза в рублях	211 000	1 283 000	612

Ниточка тянет ниточку. У колхоза появились деньги, он стал выдавать их колхозникам на трудодни. Поскольку уж мы взялись за таблички, вот таблица стоимости трудодня в нашем колхозе начиная с 1952 года:

Годы	Деньги	Зерно в граммах	Картошка в граммах	Сено в граммах	Солома в граммах
1952	—	500	1700	—	600
1953	—	800	300	—	—
1954	—	1020	380	170	470
1955	46 коп.	1500	—	700	1000
1956	2 руб.	900	—	—	—
1957	2 »	850	850	1000	—
1958	3 »	1800	500	1000	—

Ниточка цепляется за ниточку. Почувствовав вес трудодня, колхозники стали охотнее выходить на работу.

Теперь суровый бригадир Василий Михайлович Жиряков, если колхозница не выполнит его наряда, не грозит оштрафовать ее на пять трудодней: это была бы слишком жестокая мера, — а просто-напросто в течение нескольких дней не посылает на работу, проходит мимо ее избы, как бы не замечая, пока, наконец, провинившаяся сама не придет к нему и не станет умолять, чтобы он опять начал посылать на работу.

Что касается собственных приусадебных хозяйств, то благодаря отмене всех налогов (с овцы — шерсть, мясо, полкожи и деньги; с поросенка — мясо, полкожи и деньги; с коровы — молоко, мясо и деньги; с кур, с фруктовых деревьев, с гусей, с уток, пчел) не только улучшилось благосостояние каждой семьи тем, что не надо платить ежегодно большие деньги *, но и появилось откуда ни возьмись множество овец, коров, поросят и прочей живности. Сразу пропали из деревенского стада все козы.

Интересна одна деталь. Колхозники должны были раньше сдавать государству четыреста литров молока и едва-едва выполняли эту норму. Теперь

* Сейчас существует единый сельскохозяйственный налог — десять рублей с каждой сотки приусадебного участка, что составляет в год, в зависимости от величины участка, 350—400 рублей.

они продают государству молоко. Делается это так. Николай Васильевич с баками объезжает село, и женщины выходят и льют ему в баки молоко, кто сколько захочет. Баков обыкновенно не хватает, и женщины, не успевшие вылить молоко, считают себя неудачницами. При такой добровольной продаже уж не по четыреста литров молока продают колхозницы, а в среднем по шестьсот, многие даже и по восемьсот, то есть ровно в два раза больше. К тому же, и это самое главное, в то время, как молоко выливается из ведра в большой бак, у колхозницы нет ощущения, что у нее взяли и просто-напросто отобрали это молоко. Нет, она сама захотела его продать и следит, как бы не прозевать Николая Васильевича.

Чтобы закончить дело, должен сказать, что я заходил нарочно в несколько домов и спрашивал о среднем годовом доходе. Семьи я брал разные: три человека в семье, и все работают — например, Глафира, Шурка и Николай Васильевич; один работает, а четверо едят — например, Сергей Тореев; женщина живет без мужа с дочерью, и обе работают — например, Анна Абрамова; и муж и жена — оба на руководящих колхозных должностях — например, Александр Павлович Кунин и жена его Валентина. Строго говоря, от количества ребятишек в семье и вообще едоков зависит не доход, а общее благосостояние семьи, доход же в чистом виде зависит от выработанных трудодней. Нетрудно было подсчитать, что тысяча трудодней в нашем колхозе в прошлом году стоила около восьми тысяч рублей; значит, достаточно узнать, сколько колхозник выработал трудодней, как можно будет сказать, сколько он заработал. Есть семьи, выработавшие по полторы тысячи трудодней, есть — и по семисот, так что тысяча и будет, пожалуй, средней цифрой. К этому доходу надо прибавить молоко, проданное государству (допустим, пятьсот литров на шестьсот рублей), выращенные и проданные овцы (по двести пятьдесят рублей за штуку), да шерсть с овец, да картошка со своей усадьбы, да сено со своей усадьбы. Ни-

кто не запрещает также развести пчел или хороший сад.

Нюра Московкина так говорила мне о жизни колхозников (почти стенограмма):

— Что ты! Разве теперь народ-то плохо живет? Поди ты! В магазине не знают уж, чего покупать, сельпо шифоньеров не напасется. Когда это было? Кроватей с шишками, диванов накупили мягких, что ты! Этого и не было никогда! Поди-ка зайди в любую избу — как обставились! Радио у всех. Славка Ломагин телевизор приволок, за три тысячи с прибором! Да когда это было? Электричество провели: и в передней лампочка, и на кухне лампочка, и в сенях лампочка, и на дворе-то лампочка, тьфу ты, пропасть! Везде лампочек понавешали. Три фонаря посреди села, кино каждый день. Да когда это было?

Разумеется, многочисленность или малочисленность семьи, хозяйственность или бесхозяйственность, неряшливость или опрятность создают разницу и в обстановке избы, и в харчах, и в отложенных на черный день запасах, но основа благосостояния, несомненно, есть, и надо думать, что она будет упрочаться, ибо не всегда же будет в нашем колхозе трудодень стоить восемь рублей.

Обычно председатели (их были десятки) старались дотянуть до отчетного года, с тем чтобы или самим сбежать, или чтобы их в конце концов прогнали.

Александр Михайлович Глебов, приехав в село из Владимира, купил дом и начал теперь всячески благоустраиваться, сознательно врастать корнями в олепинскую почву. Одно это говорит о том, что колхоз наш — здоровый и крепнущий организм.

Мы отвлеклись на том месте, где я должен был перечислить семью Александра Михайловича, рассказать, кто чем занимается, и перейти в следующий дом. Жена нашего председателя Екатерина Алексеевна — учительница в Олепинской школе; сын Гена учится в седьмом классе; сыну Вове пять лет. Близнецам Виктору и Виктории по три годика. Эти уж коренные олепинцы.

* * *

...Дом тридцать четвертый. Сергей Васильевич и тетя Дуня — оба старики в преклонном возрасте, в колхозе не работают. Сыновья их живут: Александр — во Владимире, Борис — в Ногинске; дочери Валентина и Капа вышли замуж и также живут на стороне.

* * *

...Тетя Олена Грыбова — старуха лет девяноста, впрочем, я и не помню, чтобы она была когда-нибудь моложе. Когда я начал себя помнить, она была так же стара, как и сейчас, разве что прибавилось глухоты да убавилось зрения; муж тети Олены — Иван — пас олепинское стадо и один из всех пастухов, когда-либо пасших в селе, умел хорошо играть на рожке. Особенно у него получался «Ванька-клюшник». Теперь он помер. Сыновья тети Олены — Василий, Иван и Александр — все погибли на войне; дочь Капа померла подростком; дочь Дуня — единственное уцелевшее дитя Олены — живет с ней в одном доме. Немало вынесла Дуня за свою нелегкую жизнь. Муж тети Дуни был Николай Иванович Кулаков. Он в молодости работал на каком-то строительстве и надорвался, таская кирпичи. Инвалидность его с годами становилась все очевиднее, под конец он вовсе не мог работать. Но между тем нарождались маленькие дети, семья бедствовала. Однажды Николай Иванович с семьей переехал жить во Львов (оно же Негодяиха), купив там избенку. Но в большой летний праздник, когда все гуляли в Олепине, в том числе и Кулаковы, изба их вспыхнула и сгорела прежде, чем Николай Иванович, волоча больную ногу и задыхаясь, успел пробежать два с половиной километра, отделяющие Негодяиху от нашего села. Будто бы сгорели и пятьсот рублей, спрятанные за иконой. Так Кулаковы стали опять жителями Олепина. Тетя Дуня работает в колхозе дояркой; сын Владимир — мастер на Собинской ткацкой фабрике; дочь Надя — колхозница,

дочь Лена — ткачиха на Собинской фабрике; сын Виктор — шофер в нашем колхозе. Можно твердо сказать, что материально никогда Кулаковы не жили так хорошо, как сейчас. Жаль только, Николай Иванович помер, не дожив до этого времени!

Некоторые женщины нашего села слегка осуждают тетю Дуню за то, что деньги она тратит не столько на хозяйство, сколько на наряды дочерям. Но надо понять это стремление матери одеть своих дочерей, если самой не привелось износить ни одного нарядного платья.

Нужно сказать, коли зашла речь, что сейчас в Олепине одеться лучше других не так-то просто. Конечно, в будние дни никому не придет в голову блистать нарядами, ибо деревенская работа требует удобной, грубой одежды. Зато в праздники!..

Недавно в летний праздник в Олепине собралась молодежь со всей округи. Если бы со мной не было жены, то, может быть, мне и в голову не пришло вникать в наряды олепинских женщин, но тут пришлось вникнуть. Шифон, натуральный жоржет и цветастый пан-бархат — вот самые обыкновенные материалы, в которые одевается сегодня праздничная деревня.

Когда же наступил вечер, то все девушки переоделись в вечерние наряды из лиловой и фиолетовой шерсти.

Иная городская модница, может быть, скривила бы губки: дескать, в прошлом году были модны эти цвета. Но, право, олепинским девушкам не резон, да и некогда на лету схватывать столичные моды.

Хорошо, что газеты стали приходить в Олепино этим же числом*, а не на четвертый день, как это было недавно. Моды если и запоздают — не беда.

Среди гулявших на празднике людей было несколько московских женщин, и они ничем, ровно ничем, не выделялись среди остальных. Одно только

---

*Кстати, может быть, интересно будет узнать, что в село на тридцать шесть домов приходит пятьдесят газет и пять журналов.

было у них преимущество, вернее, одно только слабое место было у деревенских соперниц: как правило, деревенские женщины покупают пусть дорогие, но все же готовые платья, а не шьют у разных там модных портних. Разумеется, готовые платья сидят несколько мешковато и кажутся как бы с чужого плеча.

* * *

...Евдокия Изотовна — сноха тети Олены после убитого сына Александра. Работает в колхозе телятницей; сын ее Шура — прицепщик. Избенка их совсем развалилась и стала бы непригодной для жилья, когда бы председатель Александр Михайлович Глебов не поставил об этом на колхозном правлении вопрос. Амбар, в котором помещалась сельская лавка, разобрали, перевезли и соорудили из него пусть небольшую, но теплую избу, в которой и живет теперь тетя Дуся с сыном. Их дом самый крайний, самый последний в селе Олепине, дальше начинается луговина, потом поле, сбегающее под уклон к реке и около самой реки переходящее в луг.

* * *

Путешествие наше из дома в дом по селу Олепину закончилось. Оно было долгим, может быть, утомительным, но думаю, что небесполезным. Во всяком случае, я не считал бы свою роль исполненной, если бы не представил вам каждого олепинского жителя. Что касается цифровых итогов, которые я обещался подвести, то они будут такие:

Семейств, выехавших из Олепина в послевоенные годы	10
Всего живет в Олепине семейств	36
Погибло на войне человек	17
Всего живет в Олепине человек, считая ребятишек	110
Рядовых колхозников, выполняющих разные работы	6
Колхозников, выполняющих специальные работы (доярки, счетоводы, уборщицы, телятницы, кассиры, пасечник, трактористы и т. п.)	38
Людей, уехавших в города, а также работающих не в колхозе, а на стороне	48

* * *

Высокий округлый холм, подножие которого обвивает речка Ворша, а на макушке которого стоит село Олепино, когда-нибудь был, вероятно, пуст. Склоны его, ныне покрытые мелкой плотной травой, такой яркой после летнего светлого дождичка, бесспорно, шумели лесами, ибо и теперь между маленькими уцелевшими островками леса по склонам холма редко-редко, но все же растут кустики можжевельника, а там небольшие елочки, а там и взрослая сосна, которая стоит одна посреди зеленой травы, вольготно обдуваемая ветрами, и далеко видно ей на все стороны света.

Может быть, холм и поверху был покрыт сосняком... Но тогда почему же именно здесь решили пращуры рубить первые избы? Наверно, на вершине холма и раньше была плешинка, и когда каким-либо образом на скрипучих телегах своих очутилась славянская семья (или пять семейств) на упомянутой плешинке и люди оглянулись вокруг на молчащие в низинке по склонам холма и у его подножия темно-зеленые леса с белой причудливой полосой речного тумана, накуренного Воршей, то, может быть, тут-то и дрогнуло сердце старейшего и сказал он распрягать лошадей и разжигать костры.

Есть еще одно предположение, которое дальше, после прочтения нами одного исторического документа, покажется не лишенным вероятности, а именно: что притулился на холме монашеский скит, который постепенно со всех сторон облепили (или олепили) избы обыкновенных крестьян, и таким образом получилось Олепино.

Если еще двадцать лет назад полно было рыбы в Ворше, то сколько же ее было тогда? Если и теперь в урожайный год как пойдут боровые рыжики по Миколавке да по Прокошкинским сосенкам, сколько же их, рыжиков, росло в древние годы! А место здоровое, высокое, сухое, бескомарное, ни змей, ни другого какого гада. Почему бы и не поселиться?

Никто из стариков не помнит первого поселения на высоком холме над рекой Воршей, но когда спросишь, всегда отвечают, что село стояло еще и при татарах. Опровергнуть невозможно, так же как и доказать.

Однако очень мне захотелось поискать, нет ли какого-нибудь упоминания в каких-нибудь книгах или летописях.

Задача эта могла быть продиктована только огромным желанием да еще разве наивностью, ибо найти что-нибудь о селе, не помечаемом даже на подробных областных картах, конечно, очень трудно. Тем не менее я смело устремился в дебри каталога в самой большой библиотеке нашей страны. Если верить замечательному Фабру, усердие и терпение в конце концов не могут не вознаградиться, я помнил об этом, и это поддерживало меня. Наконец в пожелтевшей книжонке, изданной в 1893 году, на сто двадцать шестой странице я вдруг прочитал с замиранием сердца:

«ОЛЕПИНО»

«Село Олепино — от Владимира сорок верст при пруде и колодцах. В первой половине XVI века село Олепино принадлежало Московскому Ново-Девичьему монастырю; но царь Иоанн Грозный взял эту вотчину в царскую казну в обмен на село Никулинское. Об этом в Царской жалованной несудимой грамоте Московскому Ново-Девичьему монастырю 1662 года апреля 2 говорится: «В Володимирском уезде в Полском стану село Мигулинское с деревнями, а пожаловал их (игуменью и наместницу монастыря с селами) тем селом и деревнями благостные памяти царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси против их села Олепина с деревнями».

«Дворцовым имением Олепино остается в XVII столетии, но в начале XVIII ст. оно записано уже вотчиной «Стольников Петра и Ивана Самойловых детей Салтыковых»; фамилии князей Салты-

ковых Олепино принадлежало в XVII и нынешнем столетиях» *.

«Церковь села Олепина в честь Покрова Пресвятые Богородицы весьма древнего происхождения. Когда в 1860 году ветхая деревянная церковь в Олепине была разрушена, то при сожжении престола было найдено в столбце его три антиминса, из коих самый древний дан был в Покровскую церковь села Олепина в княжение Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, другой при царе Иоанне Грозном и третий при царе Борисе Годунове».

«В книгах патриаршего казенного приказа под 1656 годом записано: «Церковь Покрова Пречистые Богородицы в приселке Алипине того ж приселка Алипина на крестьянах за оброк данью семнадцать алтын заезда гривна и августа 31 день платил те деньги староста церковный Фома». «187 г. (1679) церковь Покрова Пресвятые Богородицы в государевом дворцовом приселке Алепине дани 22 алтына 4 деньги заезда гривна».

«Ныне существующая каменная церковь в честь Покрова Пречистые Богородицы построена в 1850 году усердием прихожан, при ней каменная колокольня и ограда».

«До 1849 года приход состоял из села и трех деревень; но в этом году **, по прошению помещика князя Салтыкова, преосвященный Парфентий к Олепину причислил из Черкутинского прихода семь деревень; в этом составе приход существует и в наше время. Деревни: Брод, Останиха, Курьяниха, Калинино, Оленинцо, Кривцо, Николютино, Зельники, Щуково и Борисово. Расстояние от села 1—3 версты, препятствий к сообщению между ними нет. Всех дворов в приходе 175, душ мужского пола 501 и женского 551».

«В 1881 году в селе открыта церковноприходская школа».

---

* Напоминаю, что цитируемая книга издана в 1893 году.

** Не знаю, к чему отнести «этот год»: к 1849-му или к году издания книги, то есть к 1893-му.

Итак, «при пруде и колодцах». Значит, в те времена, когда составлялся этот документ, в Олепине был один пруд. Это подтверждают и старики. Пруд находился на месте сегодняшнего нижнего пруда, но был больше и глубже. В овраге ниже пруда, приглядевшись, легко и теперь разглядеть останки земляной плотины. Верхний пруд, по-видимому, был устроен гораздо позднее.

Что касается колодцев, то я не знаю, сколько их было, когда при великом князе Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского, вручался Олепинской церкви упомянутый антиминс, но сейчас в селе восемь колодцев.

Первый расположен между избой Володи Постнова и нашим домом, на уровне передних углов. Он неглубок (впрочем, все колодцы неглубоки), вода в нем грубовата на вкус и мало пригодна для мытья головы.

Второй колодец по-старому называется Никаноров, хотя никаких Никаноровых около него теперь не живет. Он рядом с избой Александра Федоровича и расположен не на улице, а в глубине, возле огородного тына. Вокруг него растут крапива и лопухи. Вода еще грубее, чем в первом колодце, волосы после нее никак не расчешешь. Кроме того, в этот колодец что-то частенько попадают мыши, а значит, время от времени при обнаружении мыши воду черпать из него перестают, и вода начинает стухаться. Однажды во время вытаскивания воды из Никанорова колодца мне пришла в голову мысль написать стихотворение о колодце, что я и сделал. Так что, несмотря на грубую воду, у меня к этому колодцу особо нежные чувства.

Третий колодец — напротив Бакланихина дома, около их амбара, перед школой, то есть посреди села, в трех метрах от проезжей дороги. Я вижу, как Бакланихины, Иван Дмитриевич и Московкины берут из него воду, но никто больше, кроме этих трех домов, колодцем не пользуется. Странно подумать, что сейчас я вспоминал, вспоминал и не мог вспомнить, чтобы я когда-нибудь пробовал воду из этого

колодца, хотя он стоит на самом, что называется, юру.

Четвертый колодец сделан недавно, около конного двора и молочной фермы. В нем отличная, вкусная вода, но так как он за околицей, на отшибе, то, конечно, никто туда за водой не ходит.

Пятый колодец — на задворках у Василия Михайловича Жирякова, между его двором и огородом. Вода в нем посредственная.

Шестой колодец — с самой вкусной, светлой, чистой, холодной водой — расположен рядом с домом Петра Васильевича. Он так и называется Васильев колодец. Таких колодцев с необыкновенно вкусной водой в селе два — Васильев и Кунин, так что, имея даже колодец под окнами или на задворках, все село ходит на эти два колодца. Одно время, я знаю, избегали ходить к Васильевым за водой, считая, что Нюра, жена Петяка, живя в непосредственной близости к колодцу, может по небрежности опустить в него ведро, стоявшее до этого, например, на навозе. Но теперь к цепи намертво прикрепили постоянное ведро, и все ходят и берут воду, когда захотят водички вкуснее.

Седьмой колодец — Кунин. Расположен на задворках у Ивана Васильевича Кунина. В огородном тыну сделана как бы ниша, такое квадратное углубление, в котором и стоит колодец. А так как в огороде буйно растут возле самого тына малинник и черная смородина и так как ни малина, ни смородина не подвязываются, то ветви и того и другого растения перевалились через тын, просунулись в частокол, городьбы самой уж и не видно, а колодец утонул в кустах малины и смородины. Все говорят, что на Васильевом колодце вода, пожалуй, будет чуточку повкуснее, послаже, чем на Кунином. Но, вероятно, нужно быть очень тонким дегустатором, чтобы найти разницу. Я ее не нахожу.

Верно то, что там и тут вода отличная, а так как Кунин колодец расположен уютнее, живописнее и, я бы сказал, даже интимнее, то я лично люблю его больше.

Восьмой колодец был Грубов, но Грубовы из села уехали, дом их снесли, и на месте их дома построил новый дом Николай Грибов. Как теперь будет называться тот колодец, я не знаю.

Вода в нем была бы приличной, если бы не пахла срубом. Запах этот все же неприятен. Из этого колодца мы с Грубовыми мальчишками доставали гнилушки, которые светились потом в темноте бледным голубоватым светом.

...Документ дает возможность установить, что в первой половине шестнадцатого столетия, то есть четыреста лет назад, село уже существовало, но, конечно, мы никогда не узнаем, сколько времени оно существовало до этого, так же как вряд ли догадаемся, почему Иван Грозный забрал его у игуменьи и наместницы, отдав им село Никулинское. Лучше или хуже было Никулинское в то время, богаче или беднее, выгадал или прогадал великий царь, досадить или сделать приятное хотел он матери игуменье — все скрыто во мраке времени.

Что касается князей Салтыковых, позднейших владетелей села, то их все помнят, по крайней мере рассказывают о них. Основная усадьба Салтыковых была в селе Снегиреве, в пяти километрах от Олепина. Помещики Салтыковы были так жестоки в обращении с крестьянами, что в первые же дни революции от большого, великолепного дворца не осталось камня на камне.

Еще и сейчас на окраине парка, смешавшегося и слившегося теперь с диким лесом, в кустах одичавшей сирени, посреди высокой цветущей травы, видны груды мелкого красного щебня — вот что осталось от Салтыковых.

От упоминаемых в бумаге стольников Петра и Ивана Самойловых, чьей вотчиной было Олепино, осталось название леса — Самойловского. В некоторых оврагах, примыкающих к лесу, видны остатки плотин там, где были барские пруды.

Один пруд с могучими березами на берегу, должно быть, был весьма живописен.

Вдоль опушки леса от Красной горы к «конторе» (значит, была тут некая контора) протянулась по лесу еловая аллея, намеки на нее можно найти и сейчас. В грибной год обязательно попадутся здесь белые грибы.

Одним концом аллея выходит к пруду, который жив и поныне, но весь зарос травой и зимой промерзает до дна. Поля вокруг пруда называются «хоромными», значит, здесь и были хоромы стольников Петра и Ивана.

«...Церковь села Олепина... весьма древнего происхождения». Но думаю, что это ей все равно не поможет, ибо о церкви здесь говорится как об учреждении вообще. Что касается самого церковного здания, то «ныне существующая каменная церковь... построена в 1850 году». Никак нельзя причислить архитектурную постройку, которой всего-навсего сто десять лет, к памятникам старины, и, значит, рано или поздно (не очень поздно) она развалится.

А между тем я пытаюсь и никак не могу представить себе вид на Олепино откуда-либо со стороны, с отдаления, если не будет показываться из зеленой копны столетних лип белая прямоугольная колоколенка, а рядом с ней округлая крыша и самой церкви.

Я твердо знаю одно: когда исчезнут все колокольни и церкви, русский пейзаж потеряет так много, что следующие поколения не смогут уж представить себе, в чем же состояла его особенная прелесть. Сейчас не до того, чтобы взять и реставрировать колокольни из чисто эстетических соображений. Но хотя бы пока не ломать.

Кроме всего, мне приходит в голову следующее простейшее соображение. Да, церкви, построенные в двенадцатом, четырнадцатом или шестнадцатом веках, мы считаем памятниками архитектуры две-

надцатого, четырнадцатого или шестнадцатого века. Но разве через триста-четыреста лет нашим потомкам не интересна будет архитектура позднейшего, например, девятнадцатого столетия, разве они не будут писать в своих газетах: «Товарищи, там-то и там-то находится чудом уцелевшая церковь и колокольня, построенные еще во времена Льва Толстого! Прекрасный архитектурный ансамбль, дошедший до нас из столь давнего достославного времени, в настоящее время подвергается воздействию разрушительных сил природы. Необходимо укрыть эту церковь как древнейшую реликвию под стеклянный колпак (впрочем, в то время, вероятно, будут исключительно пластмассовые колпаки) и покончить с преступным и безответственным отношением к ценнейшему архитектурному памятнику такой древности, как конец девятнадцатого и начало двадцатого столетия!»?

...Большинство деревенек, перечисленных в документе, расположено или вовсе у подножия холма, но только на другом берегу речки, или чуть-чуть отступя на противоположном, более отлогом, чем наш олепинский, склоне речной долины. С высоты олепинского холма приходится смотреть вниз на речку, обозначенную извилистой лентой ольховых кустов и кое-где проблескивающую сквозь кусты водой да маленькими деревнями, наставленными по Ворше, как горшки, близко друг от друга. Все как-то очень аккуратно в пейзаже, чистенько, прибрано, уютно, ничего нет лишнего.

Налево, обогнув холм, река уходит от нас вдаль, и долина реки просматривается вдоль, а там вдали тоже виднеются стоящие по реке деревни — и на правом и на левом ее берегу, пока, наконец, все не скроется в темно-синем лесу, а лес сам не задернется дымкой дальности.

Наверно, по вине писаря, то есть я имею в виду дьяка, вкралась описка в написание некоторых деревень.

Брод, Останиха, Курьяниха, Калинино, Зельники написаны в документе правильно. Они точно так называются и теперь. Но вот «Оленинец». Ясно, что никакого Оленинца здесь у нас быть не могло, а имеется в виду деревня «Малый Олепинец» или просто «Олепинец». «Кривцо» мы называли «Кривец», но сейчас этой деревни, состоявшей из семи дворов, нет, она исчезла с лица земли. Люди расселились по другим деревням, главным образом в Олепинец.

Никакого «Щукина» или «Шукова» тоже возле Олепина нет, а перепутал это название писарь с «Шуновым». Тем более невероятно, чтобы «Шуново» называлось «Щуковым», что деревня эта в отличие от других приолепинских деревень стоит далеко от реки, при двух глубоких сухих оврагах. Какие же, спрашивается, там щуки?

Близ Шунова стоит деревенька Зельники, в которой осталось теперь три дома, а населения в тех домах тринадцать человек — пять женского и восемь мужского пола.

Когда недавно во все деревни проводили электричество, то столкнулись со следующей хозяйственной проблемой: чтобы осветить три дома в Зельниках, надо потратить леса на столбы столько, что хватило бы на три новых сруба.

К тому же каждому понятно: скоро и эти три семьи переселятся либо в Шуново, либо в Олепино, и, так же как Кривец, деревенька Зельники останется только в воспоминаниях.

Вот почему Зельники остались без электричества.

«Расстояние от села 1—3 версты, препятствий к сообщению между ними нет».

Все это так, все правильно, если иметь в виду сообщение тех времен, то есть пешеходное или на лошадях. Точно, что и сейчас, за исключением самой водополки, можно в любую грязь пройти пешком от деревни до деревни, и самое большое, что может

случиться, так это оставить подметки от сапог где-нибудь на шуновском поле в глубокой, вязкой грязи. Если же брать современные средства сообщения, то есть колхозные грузовые автомобили, то после хорошего дождя проехать из деревни в деревню совершенно невозможно.

По тропинкам от Олепина к Броду, от Олепина к Останихе и от Олепина к Курьянихе, там, где эти тропинки, спускаясь с крутой горы, подбегают к воде, положены лавы — толстые еловые бревна с поручнями. Эти лавы каждую весну уносит большой водой, но, как только вода спадет, их устанавливают снова.

«Всех дворов в приходе 175». Теперь, по моим подсчетам, в перечисленных деревнях 117 дворов.

«Душ мужского пола 501 и женского 551».

Решив узнать, сколько же теперь душ мужского и женского пола, я послал письмо председателю сельсовета Александру Михайловичу Солоухину и в ответ через некоторое время получил обстоятельную, с тщательностью подготовленную бумагу. Из этой бумаги, где перечислены все деревни и указаны жители каждой из них, я беру две итоговые цифры: мужчин — 158, женщин — 195.

«...В 1881 году в селе открыта церковноприходская школа». Очевидно, это та самая школа (я имею в виду здание), которая сейчас стоит посреди села и в которой все мы проучились по четыре года.

Новый председатель колхоза Александр Михайлович Глебов на колхозные средства строит новую, просторную школу, но уж не в самом селе, а по дороге от села к реке, на краю холма, там, где кончается ровное место и начинается склон. К этому учебному году ее не успели отделать, но в будущем году она непременно вступит в строй. А в здание старой школы переедет правление колхоза, а в правлении колхоза устроят квартиры для ветеринара и зоотехника — вот какие большие перемены готовятся в селе Олепине.

Теперь я не могу не порассуждать насчет правильного названия села. Дело в том, что официально во всех современных документах село называется Алепино. Старики же его называют не иначе, как Олепино, а теперь вот я нашел, как видите, книгу, где написано про село и где оно тоже Олепино.

В царской жалованной да еще несудимой грамоте от 1662 года стоит «село Олепино». Правда, дьяк патриаршего казенного приказа примерно в те же годы пишет «Алепино» и даже «Алипино», но такое разночтение говорит лишь о том, что все дело перепутал упомянутый дьяк. Так же как появились «Щукино» вместо «Шуново» или «Оленинцо» вместо «Олепинца», так, видимо, и «Алипино» и «Алепино» появились вместо «Олепино».

Кроме того, стремление «облагозвучить» то или иное название заметно иногда в русском человеке. Так, например, по дороге из Москвы во Владимир на шоссе стоит село «Омутищи». Казалось бы, ясно, от чего происходит название села: от омутов, омутищ, и мудрить тут нечего. Однако несколько лет назад я, проезжая по дороге, с досадой читал табличку, где было написано: «С. Амутищи». С Олепиным произошла точно такая же ошибка.

Вот почему я везде в книге называл свое село Олепиным, хотя это и противоречит современной официальной документации.

Если же вам нужно отправить в наше село письмо или если вы будете расспрашивать у жителей, как вам проехать, то можете писать и «Алепино» и «Олепино», как вам больше нравится.

Никакой беды не случится, и письмо дойдет, и сами вы в конце концов доедете.

Написав эти последние слова, я подхожу к окну и смотрю вдоль села на ровный порядок изб, на ветлы перед избами, то старые и разваливающиеся, то молодые и кудрявые. Теперь конец сентября, но ветлы еще не пожелтели. Зато из-за домов, с за-

дворков, проглядывают верхушки желтых и багряно-красных деревьев.

Травка, которой заросло все село, тоже, как и ветлы, была бы совершенно зеленая, если бы старые липы, растущие в ограде, не начали ронять пожелтевшей листвы. А так как вчера был сильный ветер, листьев хватило на то, чтобы запорошить все село, и теперь уж сквозь опавшие листья проглядывает зелень травы.

Среди желто-зеленого яркая, мокрая, черная поблескивает неширокая проезжая дорога.

Председатель колхоза запретил ездить автомобилям по лужайкам около домов, чтобы не портить вида села, и теперь дорога одна, ровная и аккуратная, чернеет среди опавших листьев.

В небе какое-то странное сочетание наивной голубизны и темных, аспидных туч.

Временами проглядывает ясное солнце, и тогда еще чернее делаются тучи, еще голубее чистые участки неба, еще желтее листва, еще зеленее трава, еще чернее дорога, еще белее проглядывает сквозь полуопавшие липы старенькая колокольня...

Если с этой колокольни, забравшись по полуистлевшим балкам и лестницам, поглядеть теперь во все стороны белого света, то сразу расширится кругозор, мы охватим взглядом весь холм, на котором стоит Олепино, увидим, может быть, речку, обвивающую подножие холма, деревни, стоящие по речке, крутое полукружие леса, подковой охватившее весь пейзаж: и село, и реку, и деревню, и то черные, то желтые, то нежно, не по-осеннему зеленые колхозные наши поля.

Нет конца миру. Воображение может поднять нас повыше колокольни, тогда вновь раздадутся горизонты, и село, которое только что было вокруг нас, покажется как бы из игрушечных домиков, сбившихся в небольшую стайку посреди земли, имеющей заметную планетарную кривизну. Мы увидим, что земля оплетена множеством тропинок и дорог. Те, что поярче, пожирнее, уводят к горо-

дам, которые с нашей высоты можно теперь увидеть.

Вон, заслонившись лесами, дымится промышленный город Кольчугино; вон посреди чистого поля, продуваемый полевыми ветрами, одноэтажный городок Юрьев-Польский; вон выглядывает из высокой ржи бесчисленными куполами да башенками город-заповедник, город-музей, сказочный город Суздаль.

Правее Суздаля, на холмах, громоздится и сам Владимир. Словно куски рафинада, сверкают издали окружившие старый город новые рабочие кварталы.

Мимо Владимира широко шагают по земле причудливые мачты высоковольтной передачи. Они шагают из Куйбышева в Москву. Значит, поднявшись еще повыше, мы можем увидеть слева от нас туманное заркало Волжского моря, перегороженное плотиной, а справа — зыбкие, как бы миражные очертания города Москвы.

Нет конца миру. Вот уже тысячи сел, деревень и городов под нами, в темной зелени хвойных лесов поблескивают капельки озер, в разные стороны света растекаются реки, можно угадать и синее марево юга, и «стеклянную хмарь Бухары», и глубокое зеленое мерцание вечных полярных льдов.

Но с такой высоты мы можем или совсем потерять из виду, или спутать с каким-нибудь другим крохотное село Олепино, стоящее на вершинке крохотного холма, возле крохотной речки Ворши.

Вот уж и снова я гляжу из окна вдоль порядка изб. Зеленая трава густо усыпана опавшими осенними листьями, ярко чернеет дорога среди желтой листвы, вереница гусей важно шествует, шурша, к дому Глафиры. Около правления колхоза появился вездеходик — кто-нибудь из района, может быть, сам секретарь Александр Петрович Галянкин.

Низкие, с севера на юг, плывут над селом облака.

Я люблю глядеть на свое село и обычным взглядом и внутренним, как люблю глядеть на бесконечно маленькую округлую каплю хрустальной влаги, собравшуюся в зеленой ладошке листа посреди бесконечно огромного цветущего луга, на маленькое солнце, отразившееся в этой капле, на маленькие окрестные предметы, на маленького самого себя, отразившегося в ней же...

Март — сентябрь 1959 г.

5 р. 10 к.
С 1/I 1961 г. 51 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

КАПЛЯ РОСЫ